

С  
ТЕФАН  
ЦВЕИГ

---

• В р е м я •







Stefan Zweig

А М О К

Обложка работы

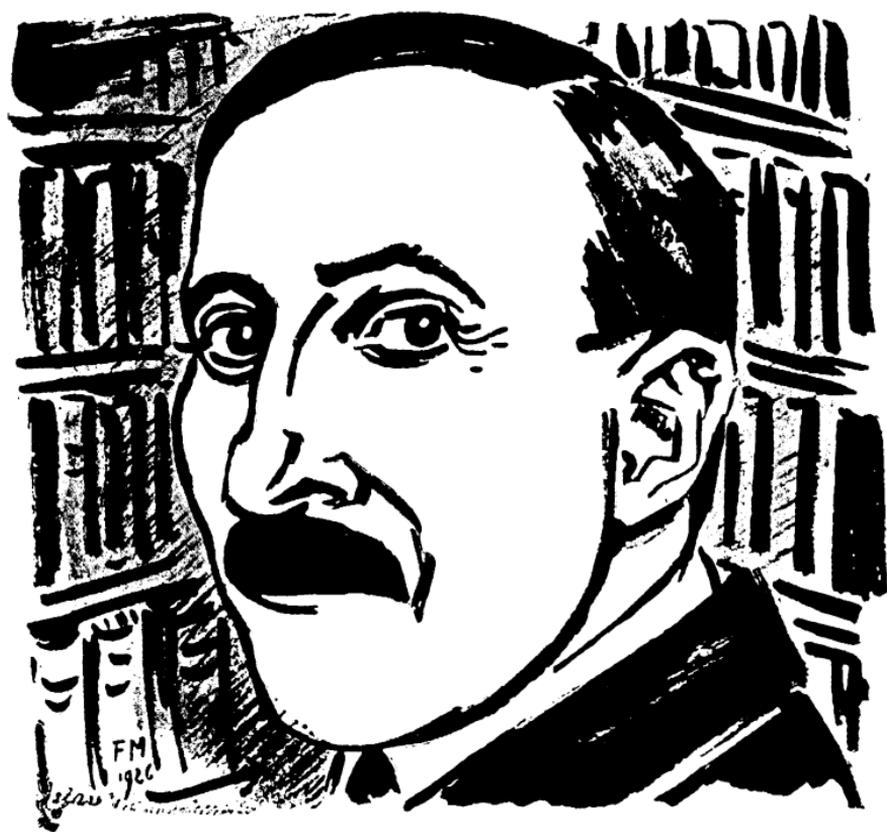
М. А. Кирнарского

Портрет работы

Франса Мазереля

(Париж)





Stefan Zweig

**СТЕФАН ЦВЕЙГ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

# **СТЕФАНА ЦВЕЙГА**

**АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ**

**С ПРЕДИСЛОВИЕМ  
М. ГОРЬКОГО**

**И КРИТИКО-БИОГРАФИ-  
ЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ  
РИХАРДА ШПЕХТА**

**ТОМ**

**II**

**КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»**

**ЛЕНИНГРАД**

**СТЕФАН ЦВЕЙГ**

**А М О Б**

**Н О В Е Л Л Ы**

**П Е Р Е В О Д  
П. С. ВЕРНШТЕЙН  
Д. М. ГОРФИНКЕЛЯ  
И. В. МАНДЕЛЬШТАМА**

**ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ**

**КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»  
ЛЕНИНГРАД — 1929**

**Ц Е П Ъ**  
**ЦИКЛ НОВЕЛ**

**ЗВЕНО ПЕРВОЕ**  
**ЖГУЧАЯ ТАЙНА**

**ЗВЕНО ВТОРОЕ**  
**А М О К**

**ЗВЕНО ТРЕТЬЕ**  
**СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ**

*Франсу Масерелю,  
художнику, другу и брату.  
Зальцбург, весна 1922 г.*



Раскройся, преисподний мир желаний  
Горячим ртом мой рот запечатлейте,  
Вы, призраки изведанных мечтаний,  
От крови кровь и уст дыханье пейте!

Возникните из сумеречной глуби  
И не стыдитесь вашей темной боли.  
Кто любит страсть, ее страданья любит;  
Мы связаны недугом общей доли.

Да, только страсть, нисшедшая до края,  
В тебе зажжет твой образ сокровенный,  
Ты возродишься на своей лишь тризне.

Гори же ярче! Только сам сгорая,  
Постигнешь духом глубину вселенной:  
Лишь там, где тайна, спят истоки жизни.

Перевел *М. Лозинский*



**А М О К**

**ПЕРЕВОД Д. М. ГОРФИНКЕЛЯ**



В марте 1912 года, в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия, так как оно случилось в ночное время, при погрузке угля, и мы, чтобы спастись от шума, съехали все на берег и там проводили время в разных кафе и театрах. Как бы то ни было, я лично думаю, что некоторые предположения, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той ужасной сцены, а отдаленность лет позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

\* \* \*

Когда я хотел заказать в паровой агентуре в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами. Он не знал, возможно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением дождливого времени, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дожидаться телеграммы из Сингапура. Но на

следующий день он сообщил мне приятную новость, что может еще занять для меня одну каюту, правда, не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому не стал медлить и просил закрепить место за мной.

Клерк правильно осведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плоха—тесный четырехугольный закулок недалеко от паровой машины, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было уйти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над головой. Внизу машина кряхтела и стонала, как грузчик, без конца взбирающийся с углем по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих на палубе. Поэтому, сунув чемодан в какую-то затхлую серую дыру, я поспешил назад на палубу и, поднимаясь из глубины, вдохнул полной грудью мягкий, сладостный воздух, доносившийся к нам с берега.

Но и на палубе для прогулок царили сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервностью, вызванной вынужденным бездействием, без умолку болтали и ходили взад и вперед. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным проходам палубы, возбужденная болтовня пассажиров, скоплавшихся перед стульями для отдыха,—все это почему-то причиняло мне боль. Я видел новый мир, впивал сливающиеся, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воспроизвести воображением то, что воспринял глаз, но здесь, на этом тесном бульваре, не было ни минуты покоя. Строчки в книге разбегались от мелькающих теней проходящих мимо людей. Невозможно было оставаться наедине

с собой на этой, залитой солнцем и полной движения паровой улице.

Я три дня боролся с этим чувством и присматривался к людям и к морю, но море было всегда одним и тем же, пустынным и синим, и только на закате оно вдруг загоралось всеми красками радуги; а людей я уже через трое суток знал наизусть. Все лица были мне знакомы до неприятности; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство; но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские мисс непрерывно упражнялись у рояля, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырял в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя парой стаканов пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.

Я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, жирный и влажный. Чувства были притуплены, и мне нужно было несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья шагов. Только машина, дышащее сердце Левиафана, кряхтя, толкала потрескивающее тело корабля вперед, в необозримое.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающими тросами, мои глаза озарил вдруг магический свет. Небо сияло. Оно казалось темным, рядом с белизной пронизывавших его звезд, но, все-таки, оно сияло, казалось, что бархатный полог застилает какую-то светящуюся поверхность, а звезды—только отверстия и прорезы, через которые просвечивает этот неопиcуемый блеск. Никогда

же видел я небо таким, как в ту ночь, таким сияющим, таким холодным, как сталь, и, в то же время, искрящимся, пенящимся, залитым светом, излучаемым луной и звездами, но горящим как будто в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестили в лунном свете все очертания парохода, резко выделяясь на темном бархатном фоне неба; канаты, реи, все узкое, все контуры растворялись в этом струящемся блеске. словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз наблюдательной корзинки—земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие. Южный Крест, прибитый мерцающими бриллиантовыми гвоздями к Неведомому; казалось, что он колыхался, тогда как движение создавал только ход корабля, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, гигантским поплавком подвигался вперед по темным волнам. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя, как в ванне, где сверху падает теплая вода, только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно и чисто и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, шипучий, опяняющий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом далеких острофов. Теперь, теперь впервые с тех пор как я поднялся по трапу, меня охватила священная радость мечтания и другая, более чувственная, заставлявшая меня, словно женщину, отдавать свое тело окружающей неге. Я хотел лечь и устремить взор вверх на белые иероглифы. Но палубные кресла были все убраны, и нигде, на всей пустынной палубе для прогулок, я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал пробираться ощупью вперед, подвигаясь в передней части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко-белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на дыновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и отражения его от вещей, как смотрят на внешний мир из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался, наконец, до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной с обеих сторон лезвия. Неустанно поднимался и опускался плуг в черную жидкую почву, и я чувствовал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искристой игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял, или несколько минут; качание чудовищной колыбели корабля унесло меня из пределов времени. Я чувствовал лишь, что мной овладевает усталость, похожая на сладострастье. Я хотел спать, грезить, но только не уходить от этих чар, не спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой сверток канатов. Я сел, закрыл глаза, но в них, все-таки, проникал струившийся отовсюду серебристый отсвет. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху — неслышимый звон белого потока вселенной. И, мало по малу, это журчание наполнило мою кровь — я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание, или биение далекого сердца корабля; я растекался, сливался в этом неугомонном журчании с полуночным миром.

\* \* \*

Тихий сухой кашель возле меня заставил меня вздрогнуть. Я сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, осле-

пленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись—как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом там вспыхнула большая круглая искра, несомненно, огонек трубки. Очевидно, сидя и любуясь пеной у носа корабля, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все это время. Невольно, не придя еще в себя, я произнес по-немецки:

— Простите!

— О, пожалуйста...—по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого не было видно. Я чувствовал, что этот человек смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так силен, что каждый из нас видел только контур другого в тени. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это казалось мне слишком грубым и внезапным. В смущении, я вынул папиросу. Вспыхнула спичка, и огонек ее секунду дрожал в нашем тесном углу. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту—ни за обедом, ни во время прогулки, и не знаю, было ли больно моим глазам от внезапной вспышки, или то была галлюцинация: но это лицо показалось мне мрачным, искаженным ужасом, призрачным. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота поглотила опять освещенные на миг черты; я видел лишь очерк фигуры, темной на темном фоне, и минутами круглое огненное кольцо трубки среди пустого пространства. Никто

из нас не говорил, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.

Наконец, я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный голос.

Я, спотыкаясь, побрел мимо такелажы и стоек. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был мой бывший сосед. Невольно я остановился. Он тоже остановился в нескольких шагах от меня, и я сквозь темноту ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

— Простите, — поспешно заговорил он, — если я обращаюсь к вам с просьбой. Я... я, — он запнулся и от смущения не мог сразу продолжать, — я... у меня есть личные... чисто личные причины искать уединения... у меня траур... я избегаю общества пассажиров... Вас я не имею в виду... нет, нет... Я хотел только попросить вас... вы меня очень обязали бы, если бы никому на борту не говорили о том, что видели меня здесь... На это есть... так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях... да... так вот... мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью... что я...

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул глухим, чрезвычайно тревожным сном, полным причудливых видений.

\* \* \*

Я сдержал обещание и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морских

путешествий всякая мелочь обращается в событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над водой дельфин, замеченный новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки, в поисках его имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они отношения к нему; целый день я был во власти нервного нетерпения и ждал вечера, когда мог бы снова встретиться с незнакомцем. Загадочные психологические явления неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не могу успокоиться, пока мне не удастся разгадать скрытую в них тайну. Люди со странностями могут зажечь во мне жажду узнать их, которая немногим меньше жажды обладания женщиной. День казался мне длинным и пустым. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила меня разбудит.

И, действительно, я проснулся в тот же час, как и вчера; На покрытом фосфором циферблате часов обе стрелки перекрывали друг друга, в виде светящейся черты. Я поспешно поднялся из душевой каюты в еще более душную ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали рассеянным светом дрожащий пароход; в вышине горел Южный Крест. Все было, как вчера—в тропиках дни и ночи еще более похожи на близнецов чем в наших широтах—только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, смущало, и я знал, куда меня влекло: туда, к черным лебедкам на носу; я хотел знать, не сидит ли там тот, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, уступая какой-то притягательной силе. Не успел

я еще добраться до места как впереди что-то сверкнуло, точно красный глаз — его трубка. Значит, он спит там.

Я невольно отступил и остановился. В следующий миг я ушел бы назад, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал прямо перед собою его голос, всхливающий и тихий.

— Простите, — сказал он, — вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, и мне показалось, что вы решили уйти, когда меня увидели. Прошу вас, садитесь, а я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел назад, чтобы ему не помешать.

— Мне вы не мешали, — с какой-то горечью сказал он, — напротив, я рад не быть некоторое время один. Уже десять дней как я не сказал ни слова... собственно, даже несколько лет... и мне тяжело — я задыхаюсь, верно, оттого, что должен все глотать, молча... я больше не могу сидеть в каюте, в этом... в этом гробу... я больше не могу... и людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются... Я не могу это выносить теперь... я слышу это в самой каюте и затыкаю себе уши... правда, они ведь не знают, что... они и понятия не имеют, а потом, какое дело до этого чужим...

Он снова загнулся, и вдруг неожиданно и поспешно сказал:

— Но я не хочу стеснять вас... простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я настойчиво удерживал его.

— Вы несколько не стесняете меня. Я тоже рад обменяться здесь, в тиши, парой слов... Не хотите ли папиросу?

Он взял. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на

этот раз оно было прямо повернуто ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо, жадно и с какой-то безумной силой. Меня охватил трепет. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что я должен молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. У него был второй палубный стул, который он предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгало в темноте световое кольцо от его папиросы, я видел, что его рука дрожала. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

— Вы очень устали?

— Нет, нисколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

— Мне хотелось спросить вас кое о чем... т. е. я хотел бы вам кое-что рассказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако... я... я нахожусь в ужасном психическом состоянии... я дошел до предела, когда мне, во что бы то ни стало, нужно с кем-нибудь поговорить... не то я погибну... Вы поймете меня, когда я... да, когда я вам расскажу... Я знаю, что вы не сможете помочь мне... но я прямо болен от этого молчания... а больной всегда смешон в глазах других...

Я прервал его и просил не терзаться напрасно и, не стесняясь, рассказать мне все... конечно, я не мог ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то, естественным образом, рождается долг помочь.

— Долг... предложить свою помощь... долг сделать попытку... так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг... долг предложить свою помощь...

Трижды повторил он эту фразу. Мне стало жутко от этой тупой, упорной манеры повторять слова. Не сумасшедший ли этот человек? Не пьян ли он?

И словно угадывая мою мысль, он изменившимся голосом произнес:

— Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного. Нет, этого нет — пока еще нет. Только сказанное вами слово странно поразило меня... поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит — лежит ли на нас долг... долг...

Он снова начал спотыкаться. Потом он замолк и начал с новым усилием:

— Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые... да, я бы сказал, предельные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг... долг ведь не один — перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой... Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем... но такие правила хороши только в теории... До каких пределов нужно помогать?... Вот вы, чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас разговаривать со мной, потому что я прямо издыхаю от своего молчания... Вы готовы слушать меня... хорошо... Но это ведь легко... а что, если бы я попросил вас схватить меня и бросить за борт... тут уж кончается любезность, готовность помогать. Где-то она должна кончаться... там, где начинается наша собственная жизнь, наша собственная ответственность... где-то это должно кончаться... где-то должен прекращаться этот долг... или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то исповителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом, написанный латинскими буквами; неужели он, действительно, должен отбросить всякую личную жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какал-нибудь... когда какой-нибудь

пациент является и требует от него благородства, готовности помочь и доброты? Да, где-нибудь кончается долг... там, где человек больше не может, именно там...

Он снова приостановился и затем продолжал:

— Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян... пока еще не пьян... Впрочем, и это со мной теперь часто бывает, я спокойно признаюсь в этом вам, в этом дьявольском одиночестве... Подумайте — я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных... тут можно отучиться от спокойной речи. Потом, как начнешь говорить, так всего сразу не перескажешь... Но, подождите... да, я уже знаю... я хотел вас спросить, хотел представить вам один случай... лежит ли на нас долг помочь... так, с ангельской чистотой помочь... Впрочем, я боюсь, что это будет длинная история. Вы, в самом деле, не устали?

— Да, нет же, нисколько.

— Я... я очень признателен вам... не хотите ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, несколько бутылок, которые он поставил возле себя. Он предложил мне стакан виски, к которому я едва прикоснулся, в то время как он разом опрокинул свой.

На миг между нами воцарилось молчание. Вдруг ударили колокол: половина первого.

\* \* \*

— Итак... я хотел рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном... в маленьком городке... или, вернее, в деревне... врач, который... врач, который...

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.

— Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все прямо, с самого начала, а то вы не поймете... Это нельзя изложить в виде примера, в виде теоретической возможности... я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки... передо мной ведь тоже люди раздеваются до-нага и показывают мне свои язвы и выделения... когда хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и стараться что-нибудь утаить... Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом... я раздеваюсь перед вами до-гола и говорю: я... стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедаёт душу у человека и высасывает у него мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-нибудь движение, так как он вдруг остановился.

— Ах, вы протестуете... понимаю — вы в восторге от Индии, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их только, катаясь по железной дороге, в автомобиле, на рикше: я сам это чувствовал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только ни мечтал — я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлинном тексте, хотел изучать болезни, работать для науки, ознакомиться с психикой туземцев; я был, как говорят на европейском жаргоне, миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но под невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка — от нее ведь не уйти, сколько ни жрать хинина — подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европейец невольно отстает от своего естественного образа жизни, если попадает из больших городов на такую проклятую болотную станцию. Рано или поздно пристукнет всякого:

одни запивают, другие курят опиум, третьи дерутся и звереют—так или иначе, но тупеют все. Они стремятся в Европу, мечтают о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по улице, посидеть в светлой каменной комнате среди белых людей, год за годом мечтают об этом, а когда настает срок, когда можно было бы получить отпуск, то им уже лень двинуться с места. Они знают, что всеми забыты, сознают, что они чужие, как морские ракушки, на которые всякий наступает ногой. И они остаются, завязшие в своих болотах, и погибают в этих жарких, сырых лесах. Пусть будет проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру...

Между прочим—это было не так уж вполне добровольно. Я учился в Германии, сделался врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В одном из медицинских журналов того времени много писали по поводу нового вспыскивания, которое я первый ввел в практику. Тут подоспела история с одной бабенкой, которую я впервые увидел в больнице; она своего любовника довела до бешенства, и он ранил ее из револьвера; вскоре и я был таким же бешеным. У нее была манера держаться высокомерно и холодно—это и выводило меня из себя—властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я и совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я—да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже восемь лет—я из-за нее растратил госпитальные деньги, и, когда это выплыло наружу, скандал был ужасный. Правда, моему дяде удалось прикрыть мое преступление, но карьера погибла. В это время я услышал, что голландское правительство вербует врачей для колоний и предлагает подъемные. Я сразу сообразил, что это, верно, отчаянное дело, раз за него предлагают деньги

вперед; я знал, что могильные кресты на этих пораженных лихорадкой плантациях растут втрое быстрее чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что лихорадка и смерть постигнут кого угодно, но только не его. Ну, что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая обобрала меня до-чиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий уезжал я из Европы и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как вы сидите, как сидели все, и видел Южный Крест и пальмы, сердце таяло у меня в груди — ах, леса, одиночество, тишина! — мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию, или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а — впрочем, название не играет никакой роли — на одну из районных станций, в двух днях езды от ближайшего города. Два-три скучных иссохших чиновника, пара полубелых туземцев — это было все мое общество, а кроме него, вширь и вдаль только лес, плантации, пустыни и болота.

Вначале еще было сносно. Я занимался всякой всячиной; раз, когда вице-резидент упал во время инспекционной поездки из автомобиля и сломал себе ногу, я без всяких помощников сделал ему операцию, о которой много говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не одуститься. Но все это шло только до тех пор, пока во мне действовала привезенная из Европы сила; потом я завял. Мои европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними, шел и

отдавался думам. Мне оставалось ведь всего два года, потом я освобождался с пенсией, мог вернуться в Европу, еще раз начать жизнь. Я забросил все занятия и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

\* \* \*

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я сразу услышал опять звук воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленное глухое биение сердца машины. Мне хотелось зажечь папиросу, но я боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лицо. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли, или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола: час. Он встрепенулся; и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотания, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.

— Да, так вот... подождите... да, так вот, это было так. Сажу я там, в своей проклятой дыре, сажу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем «down», совсем болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы, я не могу передать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска

по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтал о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел «боя» и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом: пришла дама, какая-то леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал звука экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец, я иду вниз.

В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить. — Добрый день, доктор, — говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы наперед заученной. — Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там — «почему она не подъехала к дому?» — молнией блеснула у меня в голове мысль — и вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога в безукоризненном состоянии, и он попрежнему играет в гольф. О, да, у нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете, точно иг...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и беспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь

беспокойством своей гостью. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя, почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливаться на себя эту бесконечную болтовню. Наконец, она на миг останавливается, и я могу попросить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

— Как у вас мило — говорит она, осматривая мою комнату. — О, какая прелесть — книги! Я хотела бы их все прочесть! — Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

— Разрешите мне предложить вам чаю? — спросил я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки. «Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же уходить... у меня мало времени... это была ведь просто маленькая прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «Education sentimentale»... я вижу, вы читаете и по-французски... Чего только вы не знаете!... да, немцы, они проходят все в школе.. Право, удивительно — знать столько языков!... Вице-резидент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож... наш добряк доктор годится только для игры в бридж... кстати, знаете ли (она все еще говорит, не оборачиваясь), сегодня мне самой пришлось в голову, что хорошо было бы разок посоветоваться с вами... и так как мы как раз проезжали мимо, то я подумала... ну, вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!», сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что

для меня составит честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

— У меня ничего серьезного,—сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки, «ничего серьезного, пустяки... женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром, во время езды, на повороте, мне вдруг стало дурно, *gaide morte*... бой должен был посадить меня и принести воды... ну, может быть, шоффер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

— Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?

— Нет... т. е. да... в последнее время... именно, в самое последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не подымает взора из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец, она снова начинает со своей развязной и суетливой манерой:

— Неправда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь...

— Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.

— Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно нет... я измеряла температуру каждый день, с тех пор... с тех пор как начались эти обмороки. Жара нет, всегда ровно 36,4. И желудок у меня в порядке.

Минуту я медлю. Во мне все растет недоверие: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую

глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере Я заставляю ее ждать минуту, другую.—Простите,—говорю затем, — разрешите мне задать вам совершенно откровенно несколько вопросов?

— Конечно, вы ведь врач! — отвечает она, но тут же поворачивается ко мне спиной и начинает возиться с книгами.

— У вас есть дети?

— Да, сын.

— А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать—тогда... было ли у вас подобное состояние?

— Да.

Ее голос стал теперь совсем другим — ясным, определенным, без всякой трескучести и нервности. — А возможно ли, чтобы вы... простите мой вопрос... возможно ли, чтобы вы находились теперь в таком-же состоянии?

— Да.

Резко и остро, как нож, бросила она это слово. Ничто не дрогнуло в ее лице.

— Будет лучше всего, сударыня, если я подробно осмотрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный решительный взгляд, устремленный на меня.

— Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в своем состоянии.

\* \* \*

Голос на миг умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

— Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься немного во все это. К человеку, погибающему от одино-

чества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... и вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Бессознательно ощутил я это: мной овладел трепет перед стальной решимостью этой женщины, вошедшей с беспечной болтовней, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший нож. Я знал ведь чего она от меня хотела, угадал это сразу — это было не в первый раз, что женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... о, тут была стальная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она могла подчинить меня своей воле... Однако... однако... и во мне сидела какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше чем я увидел эту женщину я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо и вызывающе и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал так легко. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болливую равнодушную манеру. Я делал вид, что не понял ее, потому что — не знаю, можете ли вы почувствовать это — я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы меня просили... чтобы просила она, явившаяся с таким властным видом... и, кроме того, я знал, как легко я подчиняюсь власти таких высокомерных холодных женщин.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки вполне в порядке нормального хода вещей, напротив, они даже являются залогом нор-

мального развития беременности. Я приводил случаи из клинических журналов... я говорил говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание, как нечто весьма обычное и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И, действительно, она резким движением руки прервала меня, словно отстраняя прочь все эти успокоительные разговоры.

— Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я родила своего мальчика, мое здоровье было в лучшем состоянии... но теперь я уже не all right... у меня бывают сердечные припадки...

— Вот как, сердечные припадки, — повторил я, изображая на лице беспокойство, — сейчас же посмотрим.

Я сделал вид, что встаю и достаю слуховую трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь остро и повелительно, как голос команды на плацу.

— У меня бывают припадки, доктор, и я должна просить вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования — вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие к вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

— Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я врач. И, первым делом, снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо, такое, какое боялся увидеть, непроницаемое лицо, твердое, уверенное, полное не зависящей от возраста

красоты, лицо с серыми английскими глазами, казалось, исполненными спокойствия, но скрывающими внутренний огонь. Эти узкие сжатые губы умели хранить тайны. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной стальной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взор.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала: Затем, она вдруг сказала:

— Знаете вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

— Кажется, знаю. Но лучше поговорим на-чистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от ваших обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

— Да.

Как топор гильотины, упало это слово.

— А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?...

— Да.

— Что закон запрещает их?

— Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

— Это бывает только при наличии известных медицинских данных.

— Так вы найдете эти данные. Вы — врач.

Ясно, твердо, не [мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, слабохарактерный, дрожал, пораженный демонической мощью ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что я уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», мелькало во мне какое-то смутное желание.

— Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

— Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

— Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

— Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы... — она в первый раз запнулась, — вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно, если... если вы сможете увезти домой приличную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая купеческая ясность расчета ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже вычислила и сначала выследила меня, а потом начала травить. Я чувствовал, как проникала в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

— И эту приличную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

— За вашу помощь и немедленный отъезд.

— Вы знаете, что я, таким образом, теряю свою пенсию?

— Я возьму вам ее.

— Вы говорите очень определенно... Но я хотел бы еще больше определенности. Какую сумму имели вы в виду, в качестве гонорара?

— Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал... от гнева и... и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной в предвидении своей власти. Я был бы рад дать ей пощечину... Но, когда

я поднялся, дрожа — она тоже встала — я посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда насилия. Должно быть, и она это почувствовала. потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека — между нами сверкнула открытая вражда. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз говорили друг с другом вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, заползла мне в душу мысль, и я сказал... сказал ей...

Но подождите, так вы неправильно поняли бы, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

\* \* \*

Опять тихонько звякнул в темноте стакан. И голос сделался более возбужденным.

— Не думайте, что я хочу извиняться, оправдаться, обелить себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... это была ведь единственная радость в моей собачьей жизни, когда я, пользуясь крупницей науки, уделавшей у меня в голове, спасал какую-нибудь тлеющую искорку жизни... я чувствовал себя тогда маленьким богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, с змеиным укусом на вспухшей ноге, заранее выл, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я проводил долгие часы в пути, чтобы посетить

лежащую в лихорадке женщине; случилось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница — еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния — а это и нужно самому помогающему, это сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина — не знаю, могу ли объяснить вам это — волновала, раздражала меня с той минуты, когда вошла в мой дом, словно мимоходом, вызвала своим высокомерием на сопротивление, будила во мне все — как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все низменное. Меня сводило с ума то, что она разгрызала леди и с холодной неприступностью предлагала мне сделку, когда речь шла о жизни и смерти. И затем... затем... в конце концов, от игры в гольф не становятся ведь беременными... я знал... т. е. я должен был вдруг с ужасающей ясностью представить себе — это и была та мысль — с ужасающей ясностью представить себе, что эта спокойная, эта надменная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда я, только для протеста... да, почти негодуяюще взглянул на нее, что она два или три месяца назад, разгоряченная, каталась по постели с мужчиной, голая, как зверь, и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их вшивались друг в друга, как их губы... Вот это, вот это и была обжигавшая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой неприступной холодностью, словно английский офицер... и тогда, тогда все напрягалось во мне... и я обезумел от мысли унижить ее... с этого мгновенья я видел сквозь платье ее голое тело... с этого мгновенья я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестоких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в порыве сладострастия, как тот другой, которого

я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустил, я, как врач, никогда не пытался злоупотреблять своим положением... но на этот раз это ведь не была похоть, в этом не было ничего сексуального, я говорю правду... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... стать ее господином, как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, холодные на вид женщины всегда имели надо мной особую власть... но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не имел белой женщины, что я не знал сопротивления... Здешние девушки, эти щебецующие изящные зверьки, дрожат ведь от благоговения, когда их берет белый человек, «господин»... они расплываются в смирении, всегда доступны, всегда готовы отдаться со своим тихим гортанным смехом... но именно эта покорность, эта рабская угодливость и отравляет все наслаждение... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, застегнутой на все пуговицы и в то же время дразнившей своей тайной и отягченной недавней страстью... когда подобная женщина дерзко входит в клетку такого мужчины, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полуживера... Это... вот это я хотел вам только сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то, что теперь произошло. Итак... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, голой, чувственной, отдающейся, я словно сжался весь в комок и напустил на себя равнодушный вид. Я холодно произнес: — Двенадцать тысяч гульденов?... нет, это меня не удовлетворяет.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не денежной алчностью. Но все же она сказала:

— Сколько же вы хотите?

Я больше не желал говорить спокойным тоном.

— Будем играть в открытую. Я не делаю... не бедный аптекарь из Ромео и Джульетты, продающий яд за презренное золото... я представляю собой скорее противоположность делового человека... этим путем вам не удастся достигнуть желаемого.

— Так вы не хотите это сделать?

— За деньги — нет.

На миг между нами воцарилась тишина. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

— Чего же вы еще можете хотеть?

Теперь я больше не владел собой.

— Во-первых, я хочу, чтобы вы... чтобы вы не обращались ко мне, как к торговцу, а как к человеку. Чтобы вы, если вам нужна попошь, не... совали сейчас ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... Я не только врач, у меня не только приемные часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее рот слегка кривится, дрожит и быстро произносит:

— Значит, если бы я вас попросила... тогда вы сделали бы это?

— Вот вы уже опять хотите заключить со мной сделку, вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю. Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она высоко закидывает голову, как горячая лошадь; с гневом смотрит она на меня.

— Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть.

Тут мною овладевает гнев, красный, безумный гнев.

— Тогда я требую, если вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее — вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда, тогда я вам помогу.

На миг она остолбенела. Потом — о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было — потом ее черты нахмурились, и потом... потом она вдруг расхохоталась... с нескрываемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... такая чудовищная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... да, я готов был упасть на колени и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния; у меня был огонь во всем теле... вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно хотел пойти за ней... просить прощения... умолять ее... моя сила была ведь совсем сломлена... но она еще раз обернулась и сказала... и это звучало, как приказ:

— Не смейте идти за мной или наводить справки... Вам пришлось бы раскаться.

В этот же миг за ней захлопнулась дверь.

\* \* \*

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчное журчание, словно от струящегося лунного света. И, наконец, опять его голос.

— Хлопнула дверь... но я стоял, не двигаясь с места... я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все, и вся моя воля устремилась ей

вслед... чтобы ее... я не знаю, что... чтобы позвать ее назад, или ударить, или задушить... но только за ней... за ней... Но что-то удерживало меня. Мои члены были словно парализованы электрическим ударом... я был поражен, поражен в самую душу убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... это может показаться смешным, но я все стоял и стоял... прошло несколько минут, может быть — пять, может быть — десять, прежде чем я мог отделить ногу от земли...

Но как только я ступил ногой, я уже снова весь горел и готов был бежать... в миг слетел я с лестницы... Она могла ведь пойти только по улице, ведущей к станции... я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы. И вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен говорить с ней...

Я мчусь, оставляя за собой облака пыли... теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... там... на повороте в лесу, перед самой станцией я вижу ее, идущую торопливым твердым шагом, в сопровождении боя... Но и она, несомненно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна... Что она задумала? Почему хочет быть одна?... Может быть, она хочет поговорить со мной так, чтобы он не слышал?... Яростно нажимаю я на педали... Вдруг что-то бросается сбоку передо мной на дорогу... это бой... я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю...

Встаю с ругательствами... невольно заносу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он легко увертывается...

Встряхиваю свой велосипед, собираясь снова вскочить на него... Но подлец опять тут-как-тут, хватается за велосипед и бормочет на ломаном английском языке: — You remain here.

Вы не жили в тропиках... Вы не знаете, какая это дерзость, когда такой желтокожий бездельник хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает оставаться на месте. Вместо ответа, я заезжаю ему кулаком в физиономию... он отпатывается, но все-таки держит велосипед... его глаза, узкие трусливые глаза, широко раскрыты и полны рабского страха... но он держит руль, держит его чертовски крепко... — You remain here,—бормочет он еще раз. К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы мальчишку. —Прочь, каналья!—прорычал я. Он глядит на меня, весь согнувшись, но не отпускает руля. Я наношу ему новый удар по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость... я вижу, что ее уже нет, может быть, она уже уехала... я закатываю ему настоящий боксерский удар под подбородок, сшибающий его с ног... Теперь велосипед опять в моем распоряжении... всакиваю в седло, но машина не идет... во время борьбы погнулась спида... Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее... Ничего не выходит... тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодеем, который встает, весь в крови, и уходит в сторону... И тогда — нет, вы не можете понять, каким смешным и позорным считается там, если европеец... словом, я не соображал уже, что делал... у меня была только одна мысль: бежать за ней, догнать ее... и я пустился бежать, бежал, как сумасшедший, по деревенской улице мимо лачуг, где желтый сброд в изумлении теснился у дверей, чтобы видеть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, добрался я до станции... Мой первый вопрос был: — Где автомобиль?... — Только что уехал... — С удивлением смотрели на меня люди — я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал мокрый и покрытый грязью, и еще издали выкрикивал свой вопрос... На улице за станцией я вижу клубящийся белый дымок автомобиля... ей удалось удрать... удалось, как должно удаваться все ее твердым, жестоким расчетам...

Но бегство ей не поможет... В тропиках нет тайн между европейцами... один знает другого, всякая мелочь вырастает в событие... Не напрасно простоял шоффер целый час перед правительственным бенгало... через несколько минут я знаю все... Знаю, кто она... что живет она внизу в... ну, в областном городе в восьми часах езды отсюда по железной дороге... что она... ну, скажем, жена крупного коммерсанта, безумно богата, из хорошей семьи, англичанка... знаю, что ее муж пробыл теперь пять месяцев в Америке и в ближайшие дни должен приехать, чтобы взять ее с собой в Европу...

Но она — и эта мысль, как яд, сжигает меня — она не больше двух или трех месяцев в положении.

\* \*  
\*

До сих пор я мог еще быть понятным для вас... может быть, только потому, что до этого момента сам еще понимал себя... сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка... я потерял способность управлять собой... т. е. я ясно сознавал, как бессмысленно было все, что я делал, но я не имел больше власти над собой... я больше не понимал самого себя... я, как безумный, бежал вперед, видя перед

собой только одну цель... Впрочем, подождите... я постараюсь сделать это более понятным для вас... Знаете вы, что такое «амок»?

— Амок?... что-то припоминаю... Это род опьянения у малайцев...

— Это больше чем опьянение... это бешенство, напоминающее собачье... припадок бессмысленной, кровава-жадной мании, который нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления... во время своего пребывания там, я сам наблюдал несколько случаев — когда дело идет о других, мы всегда очень рассудительны и деловиты — но мне так и не удалось выяснить ужасной и таинственной причины этой болезни... Она находится в какой-то связи с климатом, с этой душной, сгущенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервы, пока, наконец, они больше не выдерживают... Итак, я говорил об амоке... да, амок — вот, как это бывает: какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою водку... сидит, оцепеневший, равнодушный, вялый... как я сидел у себя в комнате... и вдруг вскакивает, хватая кинжал и бросается на улицу... и бежит все вперед и вперед... сам не зная, куда... Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим «крисом», и вид крови еще больше разжигает его... Пена выступает у него на губах во время бега, он воет, как дикий зверь... и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни направо, ни налево, бежит, со своим резким криком и с окровавленным «крисом» в руке, по своему ужасному неуклонному пути... Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком... они кричат, предупреждая других, при его приближении: «Амок! Амок!», и все обращается в бегство... а он бежит, не слыша, не видя, убивая встречных... пока его

не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет, с пеной у рта...

Я видел это раз из окна своего бенгало... это было жуткое зрелище... но только благодаря тому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни... потому что точно так же, с тем же ужасным, обращенным вперед взором, с тем же бешенством, ринулся я... вслед за этой женщиной... Я не знаю теперь, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой мелькало все мимо меня... Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две... после того как я узнал все подробности об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я мчался уже на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и уехал в экипаже на железнодорожную станцию... уехал, не предупредив районного чиновника... не назначив себе заместителя, бросив дом на произвол судьбы... Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся... уехал на железную дорогу и первым поездом пустился в город... Прошло не больше часа с того мгновенья как эта женщина вошла в мою комнату, а я успел уже разбить всю свою жизнь и мчался, гонимый амоком, в пустоту...

Я мчался вперед, готовый головой пробивать стены... в шесть часов вечера я приехал... в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе... Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... но гонимый амоком бежит с незрячими глазами, он не видит, куда бежит... Через несколько минут слуга вернулся... вежливый и холодный... госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять...

Я вышел, шатаюсь... Целый час я бродил вокруг дома, в безумной надежде, что она пошлет за мной... лишь затем я занял номер в Странд-Отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски... этот виски и двойная доза веронала помогли мне... я, наконец, уснул... и этот тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

\* \*  
\*

Прозвучал колокол — два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе, и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании, долетавшем из-под кили и все время сопровождавшем возбужденную речь рассказчика. Человек, сидевший во мраке против меня, как будто вздрогнул, и слова его пресеклись. Я опять услышал, как рука тянется к бутылке, услышал тихое бульканье. Потом, несколько успокоившись, он более твердым голосом начал:

— То, что последовало с этого момента, я едва ли сумею вам передать. Теперь я думаю, что тогда у меня была лихорадка, во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием — человек, гонимый амоком, как я вам говорил. Но не забудьте, что я приехал во вторник ночью, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть, пароходом из Июкогамы, ее супруг; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы решить вопрос и оказать ей помощь. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог поговорить с ней. И именно эта потребность просить прощения в моем смешном, необузданном поведении и разжигала меня дальше. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос

жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что она была напугана моим неистовым и нелепым преследованием. Это было... да, подождите... как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели... она видела во мне только гонимого амоком, который преследует ее, чтобы унижить, а я... в этом и была вся ужасная бессмыслица... я больше и не думал об этом... я был в конец уничтожен, хотел только помочь ей, быть ей полезным... я пошел бы на убийство, на преступление, чтобы ей помочь... Но она, она этого не понимала. Когда я утром проснулся и сейчас же побежал опять к ее дому, у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил в лицо, и как только издали заметил меня — несомненно, он поджидал меня — он проворно юркнул в дверь. Возможно, что он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе... возможно... ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!... может быть, тогда все было уже подготовлено для моего приема... но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, тогда я опять потерял всякую решимость еще раз повторить свой визит... У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел... ушел в ту минуту, когда она, может быть, в не меньшей муке ждала меня.

Теперь я совсем уже не знал, что делать в этом чужом городе, который пугал и угнетал меня... Вдруг у меня блеснула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я тогда оказал помощь у себя на станции, и велел о себе доложить... В моем внешнем виде было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в

его вежливости сквозило беспокойство . . . повидимому, он тогда уже отгадал во мне человека, голимого амоком . . . Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту . . . я должен переехать немедленно . . . Он взглянул на меня . . . не могу вам передать, как он на меня взглянул . . . ну, примерно, так, как смотрит врач на больного . . . — У вас нервы не выдержали, милый доктор, — сказал он затем, — я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного . . . скажем, недели четыре . . . мне нужно сначала подыскать вам заместителя. — Не могу ждать ни единого дня, — ответил я. Он опять взглянул на меня этим странным взглядом. — Нужно потерпеть, доктор, — серьезно сказал он, мы не можем оставить станцию без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим. — Я стоял перед ним со стиснутыми зубами — в первый раз я ясно ощутил, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже накопало упрямое сопротивление, но он, светский и ловкий, опередил меня: — Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером, — сегодня прием у губернатора, вы встретите всю колонию, а многие давно уже хотели познакомиться с вами, часто осведомлялись о вас и высказывали пожелания, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Осведомлялись обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть пунктуальным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли мне говорить вам, что,

гонимый своим нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания и стал ждать; безмолвные желтокожие слуги сновали туда и сюда, мягко ступая босыми ногами и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посменвались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько ушел в себя, что слышал только тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец, пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мною в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока... пока мной не овладела вдруг какая-то необъяснимая нервность, я потерял самообладание и стал говорить невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к звуку его слов, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор — мне кажется, что если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительно хотелось мне оглянуться. И, действительно, не успел я повернуться как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье, оставлявшее обнаженными прекрасные узкие плечи, сверкавшие, как матовая слоновая кость. Она разговаривала, стоя среди группы гостей. Она улыбалась, но мне показалось, что я уловил на ее лице какое-то напряжение. Я подошел ближе — она не могла меня видеть или не хотела видеть — и смотрел на эту улыбку, любезную и вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка

снова опьянила меня, потому что она... ну, потому что я знал, что это ложь, искусство, техника, шедевр при-творства. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж... как может она так смеяться, так... так уверенно, так беззаботно смеяться и лениво играть веером, вместо того, чтобы скомкать его от волнения? Я... я, чужой... я дрожал уже два дня с того часа... я, чужой, переживал за нее ее боязнь, ее ужас, со всеми эксцессами расходившегося чувства... а она явилась на бал и улыбалась, улыбалась, улыбалась...

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее, она, извинившись, оставила круг своих знакомых и прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу — но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, удостоив узнать меня, как случайного знакомого, прежде чем я успел решить, поклониться мне или нет. — Добрый вечер, доктор. — Миг, и она ушла. Никто не мог бы разгадать, что было скрыто в этом серо-зеленом взгляде, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась... почему вдруг узнала меня?... Была ли это самозащита, или шаг к примирению, или просто следствие неожиданности? Не могу вам изобразить, в каком я находился волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с холодным и беспечным выражением на лице, а я ведь знал, что она... что она, так же, как и я, думала только о том... только о том... что между нами двумя среди всей этой толпы была ужасная тайна... а она вальсировала... в эти секунды моя боязнь, мое страдание и восхищение были страстнее, чем когда-либо. Не знаю, наблюдали ли кто-

нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением выдавал гораздо больше чем она хотела скрыть — я не мог заставить себя смотреть в другом направлении, я должен был... да, я должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, я издали впивался в ее невозмутимое лицо, следя, не уронит ли она маску, хотя бы на миг. Она, несомненно, чувствовала на себе этот упорный взор, и ей было неприятно. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже виденная мною однажды складка гордого гнева снова прорезала ее лоб...

Но... но... я ведь уже говорил вам... меня гнал амок, я не оглядывался ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее — этот взгляд говорил: не возбуждай внимания! владей собой — я узнал, что она... как бы это выразить?... что она требовала от меня корректного поведения, здесь, в общественном зале... я понимал, что уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею... Она хотела только избежать здесь бросающейся в глаза интимности с моей стороны... я знал, что она — и с полным основанием — боится какой-нибудь моей неловкой выходки... Вы видите... я узнал все, я понял этот повелительный серый взгляд, но... но, это было свыше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я, шатаясь, направился к группе, среди которой она стояла, разговаривая, и присоединился к этому немногочисленному кружку, хотя знал лишь немногих из присутствовавших... я хотел слышать, как она говорит, но избегал, точно побитая собака, ее взгляда, изредка так холодно скользившего по мне, словно я был холщевой портьерой, к которой прислонялся, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял, не сводя с нее

глаз, среди общего разговора. Безусловно, это должно было уже обратить на себя внимание, безусловно, потому что никто не сказал мне слова; и она страдала от моего слепого поведения.

Долго ли я так простоял, я не знаю... может быть, целую вечность... я не мог разорвать этих чар, сковывавших мою волю... Но она больше не могла выдержать... Внезапно она повернулась со свойственной ей восхитительной непринужденностью к мужчинам и сказала: — Я немного утомлена... хочу сегодня раньше лечь... Спокойной ночи! — И вот она уже проплыла мимо меня, едва кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, холодную, обнаженную спину. Прошли мгновенья, прежде чем я понял, что она ушла... что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение... Итак, я стоял, окаменев на месте, пока не понял всего... а тогда... тогда...

Однако, подождите... подождите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка... сначала я должен описать вам все место действия... Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом.. пары ушли танцевать, мужчины — играть в карты... только по углам болтали небольшие кучки... Итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза при ярком свете люстр... и она медленно, легкой походкой, шла по этому огромному залу, изредка величественно отвечая на поклоны.. она шла с этим высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней... Я... я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован до того мгновенья, когда понял, что она уходит... и тогда, когда это понял, она была уже на другом конце зала

у самого выхода... Тогда... о, я до сих пор стыжусь вспоминать об этом... тогда что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал — вы слышите: я побежал.. я не шел, а бежал за ней, и стук моих каблучков громко отдавался от стен зала... я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня... я сгорал от стыда... я уже во время бега сознавал свое безумие.. но я не мог .. не мог вернуться на место... я догнал ее у дверей... Она обернулась... ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри дрожали от гнева.. я только собрался что-то пробормотать... как она... как она... вдруг громко рассмеялась... звонким, беззаботным, искренним смехом и произнесла... так громко, что все могли слышать... — Ах, доктор, теперь только вы вспомнили о рецепте для моего мальчика... ах, эти люди науки!... — Стоявшие вблизи добродушно засмеялись... я понял, был поражен — как мастерски спасла она положение!... Порывшись в бумажнике, я наскоро вырвал из блок-нота чистый листок... она спокойно взяла его и... ушла... поблагодарив меня еще раз холодной улыбкой... В первый миг я чувствовал себя хорошо... я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение... но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность... ненавидит больше смерти... понял, что могу сотни раз подходить к ее двери, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу... я чувствовал, что на меня смотрят... у меня был, вероятно, страшный вид... Я пошел в буфет, выпил подряд две, три... четыре рюмки коньяку... это спасло меня от обморока... нервы больше не выдерживали, они словно оборвались... Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник... Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому

залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха... я пошел... точно не знаю, куда я пошел... в какие-то кабаки... и напился, напился, как человек, который хочет все забыть... но... но мне не удалось одурманить себя... этот смех отдавался во мне, резкий и злобный... этот проклятый смех я никак не мог заглушить... Потом я бродил по гавани... револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал, и с одной этой мыслью пошел домой... с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер... с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился... то, клянусь вам, это была не трусость... для меня было бы облегчением спустить уже взведенный холодный курок... но, как бы объяснить это вам... я чувствовал, что на мне еще лежит долг... да, тот долг помощи, тот проклятый долг... меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть полезен ей, что я нужен ей, уже... это было, ведь, утро четверга, а в субботу... я ведь говорил вам... в субботу должен был притти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина, не переживет своего позора перед мужем и перед светом... О, как мучили меня мысли о бессмысленно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь... часами, часами, клянусь вам, ходил я взад и вперед по комнате и ломал себе голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей... Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно... я всеми своими фибрами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ее ноздрей... часами, часами метался я по своей узкой комнате... был уже день, время приближалось к полудню...

И вдруг меня толкнуло к столу... я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей... писать обо всем... визгливое, собачье письмо, в котором я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником... в котором я умолял ее довериться мне... Я обещал исчезнуть в тот же час из города, колонии, даже со свету, если бы она этого пожелала... лишь бы она простила мне и поверила и позволила помочь ей в этот последний, роковой час... Я исписал двадцать страниц... Это было безумное, невероятное письмо, похожее на горячий бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту... комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды... тогда лишь попытался я перечитать письмо, но мне стало страшно при первых же словах... дрожащими руками сложил я его и собирался уже положить в конверт... и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Я жду здесь, в Странд-Отеле вашего прощения. И если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь».

После этого, я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то, было сказано все!

\* \* \*

Возле нас что-то зазвенело и покатилося — неосторожным движением он опрокинул бутылку с виски. Я слышал, как его рука шарила по палубе и, наконец, схватила пустую бутылку; широким взмахом бросил он ее в море. Несколько минут его голос молчал, потом он продолжал еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо.

— Я больше не верю ни во что... для меня нет ни неба, ни ада... а если и есть ад, то я его не боюсь — он

не может быть ужаснее тех часов, которые я пережил от полудня до вечера... Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую его полуденным жаром... комнатку, где есть только стол, стул и кровать... на этом столе—ничего, кроме часов и револьвера, а за столом — человек... неподвижный и не сводящий взора с секундной стрелки часов... человек, который все время... все, слышите, все время, три часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу... Так... так... провел я этот день, все ждал, ждал... но делал это так, как делает что-нибудь гонимый амоком, бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упрямством.

Ну... я не стану описывать вам эти часы... это не поддается описанию... я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не... не сойдя с ума... Итак... в двадцать две минуты четвертого... я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы... раздался внезапный стук в дверь... Я вскакиваю... вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком оказываюсь у двери, распахиваю ее... в коридоре испуганный маленький китайченок с запиской. Я выхватываю бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть... и не могу... красные круги плывут передо мной... подумайте об этой муке... наконец, наконец я получил от нее ответ... а тут все прыгает и пляшет перед моими глазами... я окунаю голову в воду... становится лучше... Снова берусь я за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка взмятая, оторванная от какого-нибудь старого объявления... торопливые, набросанные

карандашом строки... я не знал сам, почему меня так взволновал этот листок... какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике, или в экипаже... какой-то неопиcуемый страх и холод повеяли мне в душу от этой тайной записки... и все-таки... и все-таки, я был счастлив... она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей... может быть... я мог бы... о, я сразу исполнился самых несбыточных надежд и ожиданий... Сотни тысяч раз перечитывал я маленькую бумажку, деловал ее... осматривал, в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова... все тяжелее, все туманнее становились мои грезы, это был какой-то фантастический сон с открытыми глазами... оцепенение, тупое и в то же время напряженное, между дремотой и бодрствованием, тянувшееся не то четверть часа, не то целые часы...

Вдруг, я встрепенулся... Как будто, постучали? Я притаил дыхание... минута, две, мертвой тишины... А потом опять тихий, словно мышинный шорох, тихий, но настойчивый стук... Я вскакиваю, голова у меня кружится, открываю дверь — за ней стоит бой, ее бой, тот самый, которому я тогда дал в зубы... его коричневое лицо было пепельного цвета, блуждающий взор говорил, что случилось несчастье... Мной овладел ужас... — Что... что случилось? — с трудом выговорил я. — Come quickly — ответил он... и больше ничего... мигом сбежал я с лестницы, он за мной... Внизу стояла «садо», маленькая коляска, мы сели... — Что случилось? — еще раз спросил я... Дрожа, взглянул он на меня и молчал, стиснув зубы... Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал... я охотно дал бы ему опять по физиономии, но... меня трогала его собачья преданность этой жён-

щине... и я не стал больше расспрашивать... Колясочка с такой быстротой мчалась по оживленным улицам, что прохожие с ругательствами отскакивали в стороны. Мы оставили за собой европейский квартал на берегу, прошли нижний город и врезались в крикливую сутолоку китайского квартала... Наконец, мы добрались до узкой улочки, где-то в стороне... остановились перед низкой лачугой... Домишко был грязный, вросший в землю, впереди—лавчонка, освещенная светом сальной свечки... одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей... Бой поспешно постучался... За щелью двери послышался сильный голос... начались бесконечные расспросы... Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул прикрытую дверь... передо мной отступила, вскрикнув, испуганная старуха-китаянка... бой шел за мной, провел меня по узкому проходу... открылась другая дверь... в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови... Оттуда послышался стон... я ощупью проби-рался вперед...

\* \*  
\*

Снова пресекся его голос. И дальнейшая речь прерывалась непрерывными всхлипываниями.

— Я... я нащупывал дорогу... и там... там, на грязном матрасе... скорчившись от боли... лежало и стонало человеческое существо... лежала она...

В темноте я не видел ее лица... Мои глаза еще не привыкли... ощупью, я нашел ее руку... горячую... как огонь... у нее был жар, сильный жар... и я содрогнулся... я сразу понял все... она убежала сюда от меня... дала первой попавшейся грязной китаянке искалечить себя... только потому, что надеялась лучше сохра-

нить так свою тайну... позволила какой-то ведьме убить себя, лишь бы только не довериться мне... только потому, что я, безумец... не пощадил ее гордость, не помог ей сразу... потому что смерти она боялась меньше чем меня...

Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил,—отвратительная китайка дрожащими руками внесла коптящую керосиновую лампу... я должен был сделать над собой усилие, чтобы не схватить за горло желтую бестию... она поставила лампу на стол... желтый луч скользнул по измученному телу... И вдруг... вдруг с меня точно рукой сняло все мое оупение и гнев, весь этот нечистый нагар накопившейся страсти... теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знанием человек... я забыл все личное... мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигавшимся ужасом... Нагое тело, о котором я столько мечтал, я ощущал теперь только, как..., ну, как бы это сказать... как материю, как организм... я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках... Ее кровь, ее горячая, священная кровь текла по моим рукам, но я не чувствовал ни восторга, ни трепета... я был только врач... я видел только страдание... и видел...

Я видел, что все погибло, если не вмешается чудо... у нее было повреждение, и она истекала кровью, от неумелого вмешательства преступной руки... а у меня не было ничего, в этом гнусном вертепе, чтобы остановить кровь... не было даже чистой воды... все, до чего я ни дотрагивался, было покрыто грязью...

— Пужно сейчас же в госпиталь, — сказал я. Но не успел я этого произнести, как больная судорожным усилием приподнялась с подушки. — Нет... нет... лучше смерть...

чтобы никто не узнал... чтобы никто не узнал... домой...  
домой...

Я понял... только за тайну, за свою честь, боролась она... не за жизнь... И я послушался... Бой принес посылки... мы уложили ее... и так... словно труп, слабую и лихорадящую... несли мы ее сквозь ночь домой... отстранили недоумевающих, испуганных слуг... как воры... впустили мы ее в комнату и заперли двери... А потом... потом началась борьба, долгая борьба со смертью...

\* \* \*

Внезапно в мою руку судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Я видел во мраке его лицо прямо перед собой, его белые зубы, стучавшие от волнения, стекла очков в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. Теперь он уже не говорил — он кричал, потрясаемый охватившим его гневом:

— Знаете ли вы, вы — чужой человек, сидящий здесь спокойно на палубном стуле, совершающий увеселительную поездку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Случалось ли вам когда-нибудь быть при этом, видели ли вы, как корчится тело, как синие ногти впиваются в пустоту, как хрипит глотка, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось ли вам переживать это — вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждавшему о долге помощи? Я часто видел все это, как врач, видел это, как... как клинические случаи, как факты... я, так сказать, изучал это — но пережил я это только один раз... я, вместе с умирающей, переживал это в ту ночь... в ту ужасную ночь, когда я сидел

и напрягал свой мозг, чтобы найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась, лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей ее на моих глазах... против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать от ее постели. Понимаете ли вы, что это значит, быть врачом, знать все обо всех болезнях — чувствовать на себе долг помочь, как вы так основательно заметили — и все-таки сидеть бессильно возле умирающей, знать и не иметь силы... знать только одно, только эту ужасную истину, что помочь нельзя... нельзя, хотя бы даже вскрыв все жилы в своем теле... видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, чувствовать пульс, учащенный и прерывистый... быть врачом и ничего не знать, ничего, ничего, ничего... только сидеть и бормотать какую-нибудь молитву, как церковная старушонка, или угрожать кулаками ничтожеству — богу, о котором только и знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете?... Я... я только одного не понимаю, как... как люди умудряются не умереть вместе с больными в такие минуты... как, поспав, встают на следующее утро и чистят себе зубы и завязывают галстук... как можно жить после того, что я пережил... когда я чувствовал, как улетает ее дыхание... как этот человек, за которого я боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня... куда-то в неведомое, ускользает все быстрее с минуту на минуту, и я ничего не нахожу в своем лихорадочном мозгу, что бы могло удержать этого человека...

И к тому же еще, чтобы удвоить мои дьявольские муки... еще вот это... Когда я сидел у ее постели — я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит, с пылающими щеками, горячая и истомленная — да... когда я так сидел, я все время чувствовал за собой

два глаза, устремленные на меня с ужасным напряжением .. Это — бой сидел там на корточках, на полу, и шептал какие-то молитвы... Когда его взор встречался с моим, то в нем... нет, я не могу это изобразить... в нем отражалась такая мольба, такая благодарность была в его собачьем взгляде, и в такие минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня ее спасти... вы понимаете: ко мне, ко мне простирал он руки, как к богу... ко мне... безвольному, бессильному человеку, знавшему, что все потеряно... знавшему, что он здесь так же ненужен, как ползущий по полу муравей... Ах, этот взгляд, как мучил он меня... эта фанатическая, эта животная надежда на мое искусство... я мог бы крикнуть на него и ударить ногой, такую боль причинял он мне... и все-таки я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней, .. и тайной... Как притаившийся зверь, сидел он, свернувшись клубком за моей спиной... стоило мне потребовать чего-нибудь как он вскакивал, бесшумно ступал своими голыми подошвами и, дрожа... исполненный ожидания, подавал просимую вещь, словно в этом была помощь... спасение... Я знаю, он позволил бы вскрыть себе жилы, чтобы ей помочь... такая женщина это была, такую власть имела она над людьми... а я... у меня не было власти спасти каплю ее крови... О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью!

К утру она еще раз очнулась... открыла глаза... теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности... они горели влажным, лихорадочным блеском, когда она, словно чужая, озиралась в комнате... потом она взглянула на меня: казалось, она думала, старалась вспомнить что-то, глядя мне в лицо... и вдруг... я видел это... она вспомнила... какой-то страх, какое-то негодование... что-то... что-то... враждебное, гневное исказило ее лицо... она

начала двигать руками, как будто хотела бежать... прочь, прочь, прочь от меня... я видел, что она думала о том... о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось полное сознание... она спокойно смотрела на меня, но тяжело дышала... я чувствовал, что она хочет говорить что-то сказать... опять пришли в движение ее руки... она хотела приподняться, но была слишком слаба... Я успокаивал ее, наклонился над ней... тогда она, посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом... ее губы тихо шевелились... это был последний угасающий звук... она сказала:

— Никто не узнает?... Никто?

— Никто,—сказал я решительным, уверенным голосом,— обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство... Неизменно, с усилием она пробормотала:

— Поклянитесь мне... чтобы никто не узнал... поклянитесь.—Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня... неопишущим взглядом... нежным, теплым, благодарным... да, поистине, поистине благодарным... она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно... Долго лежала она, обессилив от напряжения и закрыв глаза. Потом начался ужас... ужас... Еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец...

\* \* \*

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда со средней палубы раздался в тишине колокол—один, два, три сильных удара—три часа. Лунный свет потускнел во в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет день, и весь этот кошмар погаснет в его

ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени не были уже так густы и черны в нашем углу. Он снял фуражку, и я увидел его лысину и измученное лицо, казавшееся еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня, он сел прямее, и его голос принял резкий язвительный тон.

— Для нее теперь настал конец — но не для меня. Я был наедине с трупом — и один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, и я... я должен был оберегать тайну... Да, вообразите себе все это положение: женщина из лучшего общества колонии, совершенно здоровая, танцовавшая накануне на правительственном балу, лежит вдруг мертвая в своей постели... при ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга... никто в доме не видел, когда и откуда он пришел... ночью внесли ее на носилках и потом заперли двери... а утром она была уже мертва... тогда лишь позвали слуг, и весь дом вдруг огласился воплями... в тот же миг об этом узнают соседи, весь город... и только один человек может все это объяснить... это — я, чужой человек, врач с отдаленной станции... Приятное положение, неправда ли?...

Я знал, что мне предстояло. К счастью, возле меня был бой, славный мальчуган, который читал малейшее желание в моих глазах — даже это желтокожее тупое животное понимало, что здесь еще придется выдержать борьбу. Мне достаточно было сказать ему: — Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло. — Он посмотрел мне в глаза своим влажным собачьим, но в то же время решительным взглядом: — Yes, sir, — больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел себя в полный порядок — и эта решительность его действий вернула и мне самообладание. Никогда в жизни,

я знаю это, я не проявлял подобной энергии и никогда большее не смогу ее проявить. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением—и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же вымышленную историю о том, как посланный ею за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время как я, повидимому, спокойно рассказывал все это, я ждал... ждал решительной минуты... ждал освидетельствования трупа, которое должно было состояться, прежде чем мы могли запереть в гроб ее—и тайну вместе с нею... Не забудьте, что была пятница, а в субботу должен был приехать ее муж...

В девять часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я велел его впустить—он был старше меня по чину и в то же время мой соперник, тот самый врач, о котором она, в свое время, так презрительно отзывалась и которому, очевидно, были уже известны мои хлопоты о переводе. Я почувствовал это как только он взглянул на меня—он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил:—Когда умерла госпожа?...— он назвал ее имя.

— В шесть часов утра.

— Когда она послала за вами?

— В одиннадцать вечера.

— Вы знали, что я ее врач?

— Да, но дело было срочное... и затем... покойная определенно требовала, чтобы пришел я. Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; румянец появился на его бледном, несколько ожиревшем лице—я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но это мне только и нужно было—

я всеми силами стремился к быстрой развязке, потому что сознавал, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал: — Ну что же, если вы думали, что можете обойтись без меня, то все-таки, мой служебный долг — удостоверить смерть и... отчего она наступила.

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем я вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови:

— Что это значит?

Я спокойно встал против него:

— Тут речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина позвала меня, чтобы я помог ей после... после неудачного вмешательства... я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне!

Он широко раскрыл глаза от изумления. — Неужели вы хотите сказать, — пробормотал он, — что я, официальный врач, должен покрыть здесь преступление?

— Да, я этого хочу, я должен этого хотеть.

— Чтобы я за ваше преступление...

— Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, а то... а то я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свой проступок — если вам угодно так это называть — и свет ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была теперь бессмысленно поругана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение.

— Вы не потерпите... так... ну, вы ведь мой начальник... или, по крайней мере, собираетесь стать им... попробуйте только приказывать мне... я сразу

подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла... недурной практикой вы тут занялись... недурной пробный образец... Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что протокол, под которым будет стоять мое имя, будет в полном порядке. Я не подпишу лжи.

Я остался спокоен.

— На этот раз вам придется все-таки это сделать. До тех пор вы не выйдете из комнаты.

При этом я сунул руку в карман — моего револьвера при мне не было. Но мой коллега все-таки вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и посмотрел на него.

— Послушайте, я вам скажу пару слов... чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены... чужая — тоже... я дошел уже до такого предела... единственное, что имеет для меня значение, это — выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти... Слушайте: я даю вам честное слово — если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана... какой-нибудь случайностью, то я в течение недели покину город, покину Индию... я, если вы этого потребуете, возьму револьвер и застрелюсь как только гроб будет опущен в землю, и я смогу быть спокоен, что никто... вы понимаете — никто — не станет заниматься расследованиями. Этого будет для вас достаточно — это должно вас удовлетворить.

В моем голосе было, несомненно, что-то угрожающее, что-то опасное, потому что, по мере того как я невольно приближался к нему он отступал с тем же выражением ужаса, с каким... ну, с каким люди спасаются от одержимого амоком, когда он бешено мчится вперед, размахивая «крисом»... И сразу он стал другим... каким-то пришибленным и безвольным... от его уверенного тона не

осталось и следа. В виде слабого протеста он промямлил еще: — Это было бы в первый раз в моей жизни, что я подписал бы ложное свидетельство... но, так или иначе, какую-нибудь форму можно будет подыскать... бывают всякие случаи... Однако, не мог же я так, без всяких...

— Конечно, не могли,—поспешно поддержал я его (только скорее!.. только скорее!... —стучало у меня в висках),—но теперь, когда вы знаете, что вы только обидели бы живого и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул головой. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было затем опубликовано в газетах и вполне правдоподобно описывало картину сердечного паралича). После этого, он встал и посмотрел на меня:

— Вы уедете на этой же неделе, неправда ли?

— Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым. — Я сейчас же закажу гроб, — сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но особенно мучительно для меня было — я не знаю сам, почему — когда он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. — Желаю вам молодцом перенести это, — сказал он — и я не знал, что он имеет в виду. Были я болен? Или... сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, делая над собой последнее усилие, запер за ним. Потом начался опять этот стук в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и перед самой ее постелью я рухнул на пол... как... падает с оборвавшимися нервами гонимый амоком в конце своего безумного бега.

Он опять приостановился. Меня знобило — вероятно, оттого, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю. Но на измученном лице, которое я уже ясно различал в свете сумерек, снова уже появилось напряженное выражение:

— Не знаю, долго ли пролежал я так на цыновке. Вдруг я почувствовал легкое прикосновение. Я вскочил. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

— Сюда хотят войти... хотят видеть ее...

— Не впускать никого!

— Да... но...

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Верное животное испытывало какое-то страдание.

— Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. А потом он сказал—он не назвал имени... откуда берется вдруг в таком низшем существе столько понимания? Почему в иные мгновения удивительное чувство такта осеняет подобных совершенно темных людей?... он сказал... тихо и боязливо...

— Это он.

Я вскочил, понял сразу, и меня охватило жгучее желание и нетерпение увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно... но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы, я совершенно забыл о нем... забыл, что в дело замешан еще один мужчина... человек, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне... За двенадцать, за двадцать четыре

часа я ненавидел бы этого человека, мог бы разорвать его на куски... Но теперь... я не могу, не могу передать вам, как меня тянуло увидеть его... полюбить его за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Предо мной стоял молодой, совсем молоденький офицер, блондин, очень неловкий, очень стройный, очень бледный. Он смотрел совсем ребенком, так... так трогательно молод он был... и несказанно потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выправку... скрыть свое волнение... Я сразу заметил, что у него дрожала рука, когда он поднес ее к фуражке... Мне хотелось обнять его... потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной... не соблазнитель, не гордец... нет, полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял предо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Маленькие усики над губой предательски вздрагивали... этот юный офицер, этот ребенок, должен был сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться.

— Простите,—сказал он, наконец,—я хотел еще раз... увидеть... госпожу...

Невольно, сам не замечая этого, я положил ему, чужому человеку, руку на плечо и повел его, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом... в этот миг между нами уже зародилось сознание какой-то общности... Я повел его к ней... Она лежала, белая, в белых простынях—я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняло его... поэтому я отошел назад, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели... дрожащими шагами, волоча за собой ноги... по тому, как поднима-

лись его плечи, я видел, какая боль разрывает ему грудь... он шел... как человек, идущий против чудовищной бури... И, вдруг, упал на колени перед постелью... так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял и усадил в кресло. Он больше не стыдился и разразился всхлипываниями. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку... с каким-то страхом... и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд...

— Скажите мне правду, доктор,—пробормотал он,—она не наложила на себя руки?

— Нет,—ответил я.

— А... я хочу сказать... кто-нибудь... впиноват ли кто-нибудь в ее смерти?

— Нет,—повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться из горла крик: «Я! Я! Я!... И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!».

Но я удержался и повторил еще раз:—Нет... никто не виноват... Это был рок!

— Мне не верится,—простонал он,—не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Как это мыслимо, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я ее тайны. Все эти дни мы, как два брата, беседовали с ним, словно озаренные связывавшим нас чувством... мы друг другу не веряли его, но каждый из нас чувствовал, что жизнь другого тесно связана с этой женщиной... Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы—и никогда он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него... что я должен был убить этого ребенка, его ребенка... и что

она увлекла его с собой в пропасть. И все же, мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него... потому что — я забыл это вам сказать — меня разыскивали... Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт... он не хотел верить официальной версии... ходили какие-то слухи... и он искал меня... Но я не мог решиться на встречу с ним... увидеть его, человека, как я знал, заставлявшего ее страдать... я спрятался... четыре дня не выходил я из дома, четыре дня мы оба не покидали квартиры... ее возлюбленный занял для меня под чужим именем место на пароходе, чтобы я мог бежать... Словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал... Я бросил там, в глуши, все, что у меня было... свой дом, и работу, на которую потратил семь лет своей жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы... а начальство, вероятно, уже исключило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост... Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе... в этом мире, где все напоминает мне о ней... Как вор, бежал я ночью... только, чтобы уйти от нее... забыть...

Однако... когда я вступил на борт... ночью... в полночь... мой друг был со мной... тогда... тогда... как-раз поднимали что-то краном... что-то продолговатое, черное... это был ее гроб... вы слышите: ее гроб... она преследовала меня, как раньше я преследовал ее... и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, был тоже тут... он сопровождал тело в Англию... может быть, он хочет произвести там вскрытие... он овладел ею... теперь она опять принадлежит ему... уже не нам... нам обоим... Но я еще здесь... Я пойду за ней до конца... он не узнает, он не должен никогда узнать... я сумею защитить ее тайну от

всякого посягательства... от этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть... Ничего, ничего ему не узнать... ее тайна принадлежит мне, только мне одному...

Понимаете вы теперь... понимаете вы... почему я не могу видеть людей... не выношу их смеха... когда они флиртуют и ходят парочками... потому что там, внизу... внизу, в трюме, между цыбиками чая и кокосовыми орехами, стоит ее гроб... Я не могу пробраться, туда, там заперто... но я сознаю это всеми своими чувствами, сознаю каждую секунду... сознаю и тогда, когда здесь играют вальсы или танго... это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвых: под любой пядью земли, на которую мы наступаем ногой, гниет труп... но все-таки я не выношу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются... я чувствую здесь эту мертвую и знаю, чего она от меня хочет... я знаю, на мне еще лежит долг... я еще не кончил... ее тайна еще не погребена... она еще не отпускает меня...

\* \* \*

На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые метлы, — матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый врасплох; на растерзанном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал:

— Мне пора... пойду уж».

Мучительно было на него смотреть, — страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от алкоголя или от слез. Его стесняло мое участие; я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в минувшую ночь. Невольно я сказал:

— Вы позвольте мне зайти после обеда к вам в каюту...

Он посмотрел на меня, — жесткая усмешка исказила его губы, с какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово.

— Э-ге... наш знаменитый долг... помогать... Э-ге... этим самым словцом вы и подзадорили меня на болтовню. Ну, нет, сударь, спасибо. Пожалуйста не воображайте, что мне теперь легче, после того как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности. Жизнь свою я проворонил, и никто мне ее не починит... вышло так, что напрасно я трудился для почтенного голландского правительства... пенсия—тю-тю, бездомным псом возвращаюсь я в Европу... псом, с визгом плетущимся за гробом... безнаказанно не бегут в бреду амока: рано или поздно — меня подкосит, и я надеюсь, что конец уже близок... Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить... я уже завел себе приятелей в своей каюте... две-три бутылки доброго старого виски... они меня иногда утешают... а затем, мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился — мой славный браунинг... он-то уж поможет лучше всякой болтовни... Прошу вас, не утруждайте себя... у человека всегда остается его последнее право — околеть, как ему вздумается... и при этом отклонить всякую постороннюю помощь.

Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал, — в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и расслабленной походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видал. Напрасно искал я его в ближайшие ночи на обычном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траур-

ным флером на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне подтвердили, что он, действительно, только-что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он, с суровым, измученным лицом, прогуливался в стороне от других, и мысль, что я знаю его сокровенные думы, несказанно волновала и пугала меня; я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь неосторожным взглядом выдать, что я знаю о его судьбе больше чем он сам.

\* \* \*

В порту Неаполя произошел после этого тот своеобразный несчастный случай, объяснение для которого нужно, мне кажется, искать в рассказе доктора. Большинство пассажиров вечером съехало на берег — я сам отправился в оперу, а оттуда в одно из блестяще освещенных кафе, на Виа-Рома. Когда мы в ялике возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали чего-то вокруг корабля, а наверху в темноте таинственно ходили по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что ему приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без малейшего следа какого-либо происшествия пошел дальше, в Геную, на борту попрежнему ничего нельзя было узнать; и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о несчастном случае в Неаполе. В ту ночь — писали газеты — в поздний час, чтобы не смущать печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб знатной дамы из голландских колоний. Носильщик спускался с ним по веревочной

лестнице, а муж покойной помогал ему, держа за веревку. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с высоты борта и увлекло за собой и гроб и обоих людей в глубину. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама, от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли из воды носильщика и мужа покойной, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного сорокалетнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, повидимому, вовсе не стояла в связи с романтически описанным происшествием; но предо мной как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа бледное, как месяц, лицо с сверкающими стеклами очков.



# **ЖЕНЩИНА И ЛАНДШАФТ**

**ПЕРЕВОД П. БЕРНШТЕЙН**





Это роковое лето, благодаря знойной засухе и неурожаю во всей стране, еще долгие годы страшным призраком бродило в памяти населения. Уже в июне и июле редкие ливни скупо орошали алчущие поля, но с тех пор как календарь перешагнул в август месяц, ни одной капли не проронило небо на землю, и даже тут, на возвышенной тирольской долине, где я, в числе многих других, надеялся найти прохладу, шафранно-желтый воздух был насыщен пылающим зноем и пылью. С раннего утра желтое солнце подымалось на пустом небе и тупо устремляло лихорадочный взор на поблекший ландшафт. Проходили часы, беловатый, гнетущий пар подымался из медного котла полуденного зноя, и томление охватывало долину. Вдали мощно высились доломиты, и снег, свежий и чистый, радовал глаз своим блеском, напоминая о прохладе; и было больно глядеть на них и мечтать о ветре, быть может, обвевающим эти вершины, в то время как здесь, в раскаленной котловине, жадный жар нагромождался днем и ночью и тысячами губ поглощал всю влагу. Постепенно замирали движение и жизнь в этом гибнущем мире завядших растений, чахнувшей зелени и иссякающих ручьев. Медленно, лениво тянулись часы. Я, как и другие, проводил эти нескончаемые дни в комнате с опущенными шторами, полураздетый, в безвольном ожидании перемены, в тупом, бессильном томлении по дождю и грозе. Но

вскоре погасло и это желание, уступив место тупому безволию, в какое были погружены засыхающие травы и лес, неподвижно застывший под пеленой пара в тяжелом сне.

Но жара росла с каждым днем, а дождя все не было. С раннего утра до вечера палило солнце, и его желтый истязующий взор напоминал тупое упорство умалишенного. Казалось, вся жизнь готова остановиться: все затихло, звери умолкли, с побелевших полей доносился только тихий, поющий звон парящего над ними зноя, только жужжащее кипение сгорающей природы.

Я хотел было уйти в лес, где мерцали голубые тени среди деревьев; там можно было полежать и укрыться от этого желтого, упорного взора; но даже эти несколько шагов казались мне утомительными. И я продолжал сидеть в соломенном кресле перед входом в гостиницу, втиснутый в узкую полосу тени, которую бросала на песок выступающая часть крыши. Я подвинулся, когда узкий квадрат тени сжался и солнце подобралось к моим рукам; затем я снова прислонился к спинке кресла и тупо устремил взор в тупой блеск, не чувствуя времени, без желаний, без воли. Время расплавлялось в этой ужасающей духоте, часы расплывались, растворялись в знойных, бессмысленных грезах. Я ничего не чувствовал, кроме обжигающего прикосновения воздуха к моим порам извне и лихорадочного биения крови внутри.

Но вдруг мне почудилось, будто, неведомо откуда, в воздухе пробежало дуновение — тихое, тихое, словно горячий вздох истомленной природы. Я напряженно прислушивался. Не дуновение ли ветра? Я не мог вспомнить, каким оно бывает, — давно уже иссохшие легкие не вдыхали его прохлады. Я еще не чувствовал его прикосновения в своем затененном углу, но деревья

там, на склоне холма, видимо, почувяли его приближение: они тихо-тихо зашелестели, будто перешептываясь между собой; тени между ними зашевелились, заматались, будто живые; и вдруг где-то вдали, в вышине, раздался низкий, вибрирующий звук. И действительно, ветер пробежал по долине, поднялся шопот и шелест, веяние и движение; с каждым мгновением рос этот шум, как бы бушующий гул органа, и вот, наконец, раздался мощный удар. Будто гонимые внезапным страхом, поднялись над дорогой дымные облака пыли и понеслись все в одном направлении; птицы, укрывавшиеся где-то в тени, шелестя крыльями, взлетели, замелькав в воздухе черными пятнами; лошади зафыркали, страхивая с ноздрей пену, и вдали на лугу замычал и заблеял скот.

Пробудилось что-то мощное, и вот — оно приближалось. И земля, и лес, и звери почувяли эту мощь, и небо затанулось легким серым флером.

Я дрожал от волнения. Моя кровь кипела от тонких уколов жары, мои натянутые нервы готовы были заскрипеть; впервые я испытывал такое наслаждение от прикосновения ветра, такое страстное желание грозы. И она приближалась, она надвигалась, росла и вот-вот готова была разразиться. Медленно ветер подталкивал мягкие клубки облаков, за горами что-то пыхтело и кряхтело, как будто кто-то катил непосильную тяжесть. Изредка это пыхтение прекращалось, будто от усталости. И тогда тихо трепетали насторожившиеся ели, и мое сердце трепетало вместе с ними. Куда ни взглянешь — всюду та же напряженность; земля расширила свои трещины: они раскрылись, как маленькие пасти, жаждущие влаги, — так раскрывались и поры моего тела, чтобы принять прохладу и освежающую, трепетную сладость дождя. Судорожно сжимались мои пальцы, как бы стремясь схватить несущиеся

тучи и заставить их скорее пролиться над изнемогающим миром.

И вот они лениво надвигаются, толкаемые невидимой рукой, как круглые вздутые мешки; черные, отягощенные дождевой влагой, сталкиваясь и ворча, они шумно стучались друг о друга, как громоздкие, твердые предметы; легкая молния, как чиркнувшая спичка, сверкала над их черной поверхностью, и грозно вспыхивал над ними голубой свет. Все теснее они надвигались, все чернее нависала их тяжесть. Как железный занавес в театре, все ниже и ниже опускалось свинцовое небо. Теперь уже весь горизонт был окутан черной пеленой; теплый воздух неподвижно сгустился; наступили последние минуты ожидания, немые и зловещие. Все было подавлено черной тяжестью, нависшей над глубиной: птицы уже не щебетали; бездыханные высились деревья, и даже маленькие травки не смели шевелиться; небо, словно металлический гроб, поглотило знойный мир, в котором все замерло в ожидании первой молнии. Затаив дыхание, я стоял, судорожно сжав руки, преисполненный сладостной тревоги, не в силах пошевелиться. Я слышал, как за моей спиной двигались люди: одни поспешно возвращались из леса, другие выходили из двери отеля, горничные спускали жалюзи и с шумом закрывали окна. Все вдруг засуетилось, заволновалось, все к чему-то готовилось. Я один стоял без движения, без слов, дрожа, как в лихорадке. Мое напряженное ожидание готово было вылиться в крик — он подступал уже к горлу — в крик восторга навстречу первой молнии.

И вдруг я услышал за своей спиной вздох, вырвавшийся из чьей-то измученной груди, и как бы вкрапленный в него умоляющий возглас: «Скорее бы дождь!». Так дико, так стихийно прозвучал этот голос, этот взрыв

подавленного чувства, будто из надтреснутых губ жаждущей земли раздавался этот возглас; будто истерзанный ландшафт, задыхаясь под гнетом свинцового неба, исторг из своей груди этот стон. Я оглянулся. За мной стояла девушка, видимо, произнесшая эти слова. Ее тонко очерченные губы были еще полуоткрыты, и ее рука, державшаяся за дверь, слегка дрожала. Не ко мне были обращены эти слова и ни к кому другому. Как над пропастью, она склонилась над ландшафтом, и ее неподвижный взгляд не отражал нависшей над елями темноты. Пуст и темен был этот взгляд, как бездонная глубь, неподвижно обращенная к глубокому небу. Он жадно устремлялся в высь, в сгустившиеся тучи, в нависавшую грозу, — меня он не задевал. Я мог спокойно оглядеть незнакомую девушку. Я видел, как подымалась ее грудь, как душила ее какая-то сила, стремившаяся вырваться наружу, как пробежал трепет по нежной, открытой шее, как задрожали, наконец, и раскрылись жаждущие губы и снова произнесли: «Скорее бы дождь!» И опять прозвучали мне эти слова вздохом всей истомленной зноем земли. Будто сновидение, стояла она, устремив в пространство неподвижный взор, и облик ее, вызывая мысль о сновидении, напоминал соннамбулу. Вся белая, в светлом одеянии на фоне свинцового неба, она казалась воплощением жажды и томления изнемогающей природы.

Что-то тихо зашевелилось в траве. Что-то застучало по карнизу. Что-то захрустело в горячем щебне. Повсюду раздавался легкий шелест. И вдруг я понял: это были капли, тяжело падающие капли, благословенные предвестники большого, шумящего, охлаждающего дождя. Да, начинается! Началось! Какой-то дурман, какое-то блаженное опьянение охватило меня. Я ожил. Я вскочил

подставил руку. Тяжелая, освежающая капля упала на мои пальцы. Я сорвал шляпу с головы, чтобы сильнее чувствовать прикосновение насыщенного влагой воздуха и волосам и ко лбу; я дрожал от нетерпения ощутить вокруг себя этот шум, почувствовать его влагу на себе, на своей разогретой, высохшей коже, в раскрытых порах, глубоко-глубоко, вплоть до разгоряченной крови. Они были еще скудны, эти гулко падающие капли, но я уже предвкушал тяжесть их бузудержного потока, я уже слышал шум и гул раскрытых шлюзов, я уже ощущал блаженство минуты, когда небо разверзнется над лесом, над духотой сожженного мира.

Но странно: капли не учащались. Их можно было счесть: раз, раз, раз, раз; со всех сторон раздавался легкий свист, хруст, жужжание, но все эти звуки не соединялись в стройный хор шумной музыки дождя. Робко падали капли: одна за другой все тише и тише, и вдруг шум окончательно прекратился. Как будто умолкло внезапно в часах тиканье минутной стрелки и будто время приостановилось. Сердце мое, горящее нетерпением, обомлело. Я ждал, ждал — но напрасно. Небо глядело, нахмурив лоб, неподвижно и мрачно; мертвенная тишина наступила на несколько мгновений, и мне почудилось, что легкая, насмешливая улыбка разлилась по его лицу. На западе засветились выси, стена туч постепенно раздвигалась, с тихим шумом они стали удаляться. Все прозрачнее и прозрачнее становилась ее глубина, и насторожившийся ландшафт, сливавшийся с прояснившимся горизонтом, был охвачен горьким чувством. Гневный трепет пробежал по деревьям; они наклонились, как бы сгорбились, опустили свои зеленые руки, только-что жадно протянутые, а теперь омертвевшие. Все прозрачнее становилась облачная завеса, злая, зловедущая

ясность стояла над бессильным миром. Все утихло. Гроза рассеялась.

Я дрожал всем телом. Гнев меня обуял; бессмысленное возмущение бессилия, разочарования, возмущение против предательства. Мне хотелось кричать, неистовствовать. Я горел желанием разбить что-нибудь, сделать что-нибудь злое, роковое. Меня обуревала бессмысленная жажда мести. Я переживал мучения всей разочарованной природы: ощущал в себе томление каждой травки, зной улиц и леса, жар известняка, жажду всего обманутого мира. Мои нервы были натянуты, как проволока, я чувствовал их электрическое напряжение в этой сгущенной атмосфере; точно маленькие огоньки, они пылали под натянутой кожей. Все причиняло мне боль; каждый звук казался мне уколом, все было как бы окружено пламенами, и взор, куда бы он ни обращался, ощущал ожог. Все мое существо до самой глубины было охвачено возбуждением; я чувствовал, как инстинкты, обычно неосознаваемые, раскрылись, как множество маленьких поздрей, и каждая из них вдыхала пламя. Я не мог различить, где кончалось мое собственное возбуждение и где начиналось возбуждение окружающего мира; тонкая мембрана ощущений, отделявшая меня от него, была разорвана; все слилось в одно общее чувство возбуждения и разочарования и, устремив лихорадочный взор в долину, постепенно засветившуюся множеством огней, я чувствовал, как каждый маленький огонек загорался во мне, как каждая звезда обжигала мое тело. Безграничное лихорадочное возбуждение царило во мне и вокруг, и магически-болезненно я ощущал, как все кругом набухало, сгущаясь во мне и разгораясь пламенем вне меня. Мне казалось, что объято пламенем таинственное, живое зерно, единое во множестве существ. Все чувствовал я с магической

остротой: и гнев каждого листка, и тупой взгляд собаки, с опущенным хвостом бродившей у дверей, — все я осязал, и все причиняло мне боль. Почти физически я ощущал в себе этот пожар: я коснулся пальцами двери, и мне почудилось, что она зашипела под ними, как трут, и запахла гарью.

Зазвенел гонг, призывая к ужину. В глубине моего существа отразился его металлический звук — он тоже причинил мне боль. Я обернулся. Куда девались люди, так недавно томившиеся здесь в страхе и волнении? Где она, стоявшая здесь, как олицетворение истомленного мира — я совершенно забыл о ней в смутные минуты разочарования. Все исчезло. Я был один среди умолкнувшей природы. Еще раз охватил мой взор выси и дали. Небо было пустое, туманное. Звезды покоились под туго натянутой вуалью, восходящая луна сияла злым блеском кошачьего глаза. Тускло было вверху, насмешливо, зловеще, а внизу, в глубинах обманчивой твердь, темнотой наступала ночь, насыщенная фосфором, как будто тропическое море, дышащее мучительно и сладострастно, словно разочарованная женщина. В последний раз засияли в вышине угасающие лучи, а внизу уже стелился душный, томительно тяжелый мрак. Враждебно вглядывались друг в друга две глубины — жуткая, немая борьба между небом и землей. Я дышал учащенно и вдыхал волнение. Я коснулся травы — она была суха, как дерево, и хрустела меж пальцев.

Снова раздался гонг. Тягостен был мне этот мертвый звук. Мне не хотелось есть, не хотелось видеть людей, но одиночество и духота на террасе становились невыносимы. Свинцовое небо глухо давило мне грудь, и я чувствовал, что не в силах выдерживать эту тяжесть. Я вошел в столовую. Гости уже сидели за своими

столиками. Они тихо разговаривали между собой, но даже тихий звук был слишком резок для моего слуха. Все становилось мучительным, все раздражало натянутые нервы: легкий шелест губ, бряцание ножей и вилок, звон тарелок, каждый жест, каждое дуновение, каждый взгляд. Все задевало меня, все причиняло боль. Я должен был употребить усилие, чтобы удержаться от какого-нибудь безумного поступка. Я чувствовал по биению пульса: меня охватила лихорадка. Я разглядывал каждого из присутствующих и к каждому из них чувствовал ненависть: как могут эти обжорливые люди сидеть так мирно и покойно, когда я пылаю, будто в огне!

Зависть овладела мною при виде этого сытого и уверенного покоя, безучастного к мучениям целого мира, к бессильному гневу, взволновавшему грудь истомленной земли. Всех я обвел глазами: не найдется ли среди них хоть одна сочувствующая душа? Но все было тупо и беззаботно. Здесь собрались только отдыхающие спокойные, уравновешенные люди — все бодрые, бесчувственные, здоровые, и только я — больной, охваченный лихорадочным жаром вселенной.

Мне подали ужин... Я попробовал есть, но кусок не лез мне в горло. Всякое прикосновение становилось невыносимым. Я был насыщен духотой, испарением страдающей, больной, измученной природы.

Рядом со мной кто-то подвинул стул. Я содрогнулся. Каждый звук жег меня, как раскаленное железо. Я оглянулся. Там сидели чужие люди — новые соседи, которых я еще не знал. Пожилой господин с женой — мещански уравновешенные люди с круглыми, спокойными глазами и жующими ртами. Но против них, в пол-оборота ко мне, сидела молодая девушка — повидимому, их дочь. Мне была видна только белая, тонкая шея, и над ней, как

стальной шлем, синеvато-черные роскошные волосы. Она сидела неподвижно, и ее оцепенение подсказало мне, что это та самая девушка, которая стояла на террасе, позади меня, и ожидала дождя, как увядающий белый цветок. Ее маленькие болезненно-хрупкие, беспокойные пальцы бесшумно играли ножом и вилок, и окружавший ее покой действовал на меня благотворно. Она тоже не притронулась к еде и только раз быстрой и жадной рукой схватила стакан. И по этому порывистому движению я радостно угадал, что и она охвачена мировой лихорадкой, и мой взор дружелюбно и растроганно коснулся ее шеи. Итак, я нашел человека, одного единственного среди всей этой толпы, который не оторван окончательно от природы, который причастен к мировому пожару, и мне захотелось подать ей весть о нашем братстве. Мне хотелось крикнуть ей: «Почувствуй меня! Почувствуй меня! Я тоже горю, я тоже страдаю! Услышь меня, услышь!». Я окружил ее магнетическим пламенем желания. Я впился взором в ее спину, издали ласкал ее волосы, я звал ее губами, мысленно прижимал ее к себе, не сводил с нее глаз, устремив на нее весь свой лихорадочный жар в надежде найти в ней дружеский отклик. Но она не обернулась. Она оставалась неподвижной, как статуя, холодная и чужая. Никто не хотел мне помочь. Даже она не услышала меня. И в ней я не нашел отражения мировой муки. Я сгорал один.

Я был не в силах далее выносить эту гнетущую, захватившую все кругом духоту. Запах теплых блюд, жирных и приторных, мучил меня, каждый шорох действовал мне на нервы. Кровь бурлила во мне, я был близок к обмороку. Все слилось во мне в безысходное томление по прохладе и простору, и эта тупая близость людей давила меня. Рядом со мной было окно. Я широко

распахнул его. И странно: опять все было окутано тайной, и беспокойные вспышки в моей крови растворялись в безграничности ночного неба. Светло желтым пятном сияла луна, как воспаленный глаз в красном кольце дыма и над полями призрачно бродил бледный туман. Лихорадочно свиристели сверчки, будто металлические струны были протянуты в воздухе, распространяя пронзительный звон. Иногда тихо и бессмысленно раздавался крик жабы; лаяли и громко выли собаки; где-то вдали ревели звери, и я вспомнил, что в такие ночи лихорадка отравляет молоко у коров.

Природа была больна; в ней чувствовалось то же неистовство озлобления, и я смотрел из окна, как в зеркало, отражающее мои чувства. Все мое существо было устремлено туда; тяжесть, давившая меня, слилась с тяжестью ландшафта в немое, влажное объятие.

Снова задвигали стульями рядом со мной, и снова я содрогнулся. Ужин был окончен, гости шумно поднялись. Соседи мои тоже встали и прошли мимо меня. Первым прошел отец, спокойный и сытый, с приветливым улыбающимся взором, за ним последовала мать и, наконец, за нею дочь. Теперь только я увидал ее лицо. Оно было желтовато бледное, того же тусклого, болезненного цвета, как и луна; губы, как и прежде, были полуоткрыты. Она ступала бесшумно, но тяжело. Была в ней какая-то вялость, изнеможение, удивительно напоминавшее мне мое собственное состояние. Я ощутил ее приближение и заволновался. Во мне зашевелилось желание стать ближе к ней, коснуться ее белого платья, почувствовать аромат ее волос. И вот она взглянула на меня. Холодный и мрачный ее взгляд пронзил меня, засел глубоко, и мрак расстелился передо мною, заслоняя ее светлый облик. Мне казалось — я падаю в пропасть. Она приблизилась еще

на один шаг, но этот взгляд не покидал меня; он, как черное копье, все глубже и глубже вонзался в меня. Вот его острие коснулось моего сердца, и биение его остановилось. На одну-две секунды задержала она свой взгляд на мне, затаившем дыхании,—всего несколько мгновений,—и я почувствовал себя неудержимо увлеченным черным магнитом ее зрачка. Она прошла мимо. И сейчас же я ощутил, будто из раны устремилась моя кровь и горячо разлилась по всему телу. Что это было? Я будто очнулся от глубокого сна. Верно лихорадка затемнила мой разум, если я мог потеряться в случайно брошенном взгляде женщины? Но не прочел ли я в этом взгляде то же немое неистовство, ту же изнывающую, безумную, томительную жажду, которая чудилась мне везде и повсюду,—во взоре красной луны, в пересохших губах земли, в воющем крике животных,—ту жажду, которая дрожала и во мне? О, как дико смешалось все в этой магической, душной ночи; как все растворилось в едином чувстве ожидания и нетерпения! Мое ли это было безумие, безумие ли всего мира? Я был взволнован, я жаждал ответа—и я последовал за ней на террасу. Она сидела рядом с родителями, спокойно прислонившись к спинке кресла. Неуловим был ее опасный взор под опущенными веками. Она читала книгу, но я ей не верил. Я знал: если она разделяет мои страдания, если она переживает бессмысленную муку изнывающего мира,—она не может отдыхать в спокойном раздумьи; это игра в прятки: она прячется от чужого любопытства. Я сел против нее, устремив на нее пристальный взгляд и лихорадочно ждал ее взгляда: не вернется ли он, околдовавший меня, не выдаст ли мне свою тайну? Но она не шевельнулась. Рука равнодушно перелистывала страницу за страницей, и взор ее оставался скрытым. А я сидел против нее и ждал, ждал с жгучим нетерпе-

нием. Какая-то загадочная сила напряглась во мне, подобно мускулу, мощная, почти физическая сила стремившаяся сломить это притворство. Среди людей, уютно беседующих, курящих, играющих в карты, происходила между нами немая борьба. Я чувствовал, что она, подавляя желание, заставляла себя не глядеть, но чем упорнее она сопротивлялась, тем сильнее становилось мое упрямство. И я был силен, потому что бушевало во мне ожидание всей истомленной земли и жгучий зной обманутого мира. И как наступала на поры моего тела влажная духота ночи, так моя воля боролась с ее волей, и я знал: сейчас она должна взглянуть на меня, должна.

В гостиной кто-то заиграл на рояле. Тихо доносились к нам звуки в беглых пассажах; по ту сторону люди шумно смеялись над какой-то глупой шуткой. Все я слышал, видел все, что происходило вокруг, в то же время ни на минуту не забывая своей цели. Я громко считал секунды, не спуская пристального взгляда с ее век и стараясь внушением своей воли заставить ее поднять упрямо опущенную голову. Проходили минуты — все еще доносились к нам переливы музыки — и я чувствовал, что силы начинают меня покидать, как вдруг она поднялась и в упор взглянула на меня, прямо на меня. Это был тот же безграничный взор, черная, страшная, засасывающая пустота, жажда, поглощавшая меня без сопротивления. Я пристально смотрел в эти зрачки, будто в черное отверстие фотографического аппарата, и чувствовал, как исчезает в нем мой облик, растворяясь в чужой крови, как я отрываюсь от самого себя. Пол зашатался под моими ногами, и я ощутил всю сладость головокружительного падения. Высоко надо мной все еще раздавались звенящие пассажи, но я уже не различал, откуда льются эти звуки. Кровь отлила. Дыхание остановилось. Не-

выносимой тяжестью давили меня эти минуты, эти часы, эта вечность — и вот ее веки опустились. Я вынырнул, как утопающий из воды, дрожа от холода, от перенесенной опасности.

Я оглянулся. Среди других, склонившись над книгой, прямо против меня, тихо сидела стройная девушка, неподвижно, словно нарисованная, и только под тонкой одеждой слегка дрожали ее колени. Дрожали и мои руки. Я знал, что снова начнется сейчас эта сладострастная игра ожидания и сопротивления, что пройдет несколько напряженных минут — и снова я внезапно окунусь в черное пламя ее взора. В висках стучало, кровь кипела во мне. Я не мог дольше выносить этого состояния. Я встал и, не оглядываясь, вышел.

Широко раскинулась ночь перед сияющим домом. Долина казалась потонувшей, и небо чернело и сверкало влажно, как мокрый мох. И тут не было прохлады — всюду то же угрожающее сочетание жажды и опьянения — то же, что и в моей крови. Что-то влажное, нездоровое, как испарения лихорадки, тяготело над полями, испускавшими молочно-белые пары; призрачные пламена бродили вдали, сверкая в отяжелевшем воздухе; вокруг луны лежало желтое кольцо, и взор ее был злобен. Я чувствовал крайнюю усталость. Увидев забытое здесь соломенное кресло, я опустился в него и, вытянувшись, почувствовал такое облегчение, будто члены моего тела покинули меня. Прислонившись к мягкой соломе, я вдруг ощутил духоту благодатной. Она больше не мучила меня: нежно, сладострастно, она прикасалась ко мне, и я не сопротивлялся. Я только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть, чтобы сильнее ощутить природу и окружающую меня жизнь. Как полип, как мягкое, гладкое, сосущее существо, охватила меня ночь, касаясь меня тысячами губ. Я лежал и

чувствовал, что уступаю, отдаваясь чему-то, меня обнявшему, охватившему, окружившему, сосущему мою кровь, и впервые я чувственно постиг в этих душевных объятиях переживания женщины, растворяющейся в нежном, любовном экстазе. Жуткую радость испытал я в этом непротивлении, передавая свое тело объятию вселенной; сладостно было нежное прикосновение невидимого к моей коже: оно проникало вглубь моего существа, развязывало члены, и я не боролся с этим усыплением внешних чувств. Меня постепенно охватывало новое переживание, и неясно, как во сне, я ощущал, что эта ночь и тот взор, женщина и ландшафт, слились в одну необъятность, в которую сладостно было погружаться. Минутами мне казалось, что этот мрак — это она, что теплота, согревающая мои члены, — ее тело, растворившееся в этой ночи вместе с моим, и, чувствуя ее и во сне, я терялся в этой темной, теплой волне сладострастного самозабвения.

Вдруг что-то испугало меня. Я напряг все свои силы и не мог притти в себя. И тут я увидел, я понял, что, полулежа с закрытыми глазами, я заснул. Должно быть, я проспал час, быть может — два: свет на террасе гостиницы погас, и все было погружено в сон. Влажные волосы прилипали к моим вискам; как горячая роса, опустился на меня этот сон без сновидений. Я поднялся, чтобы найти дорогу к дому. Смутны были мои чувства, и та же смута была вокруг меня. Вдали гремело, и редкие зарницы грозно вспыхивали в небе. Воздух был насыщен блеском искр, за горами сверкали предательские молнии, и во мне фосфорически светились воспоминания и предчувствия. Я бы охотно остался, чтобы опомниться и предаться сладостному разгадыванию гайны своих ощущений. Но час был поздний, и я вошел.

Терраса была пуста. Кресла еще стояли в беспорядке при тусклом свете свечи. Призрачной казалась их немая пустота, и невольно в одно из них я впустил нежный стан странного существа, которое так смутило меня своим взором. В глубине моей души он еще жил — этот взор. Он был подвижен, и я чувствовал, как он блистал мне из мрака; таинственное предчувствие чуяло его где-то здесь, в этих стенах, и бродило у меня в крови неясным чаением. Мне было душно. Стоило мне закрыть глаза как под веками вспыхивали красные искры. Еще сверкала во мне белый, знойный день, еще трепетала эта сырая, сияющая, сверкающая фантастическая ночь.

Но я не мог оставаться здесь на террасе. Было темно и одиноко. Я нехотя поднялся по лестнице. Было во мне какое-то сопротивление, которого я не мог побороть. Я был утомлен, но мне казалось, что ложиться спать еще рано. Какое-то таинственное ясновидение обещало мне приключение, и во мне зародилось желание увидеть что-нибудь живое, согревающее. Будто тонкие щупальцы выросли у меня, пока я пробирался по лестнице: я прикоснулся ко всем комнатам, и, как прежде все мои чувства были направлены на природу, так теперь я перебрал их внутрь дома; я чувствовал сон и спокойное дыхание множества людей, тяжелую циркуляцию их густой, черной крови, их благодушный покой, тишину и в то же время присутствие какой-то магнетической силы. Мне чудилось здесь что-то бодрствующее вместе со мной. Был ли это тот взор, был ли это тот ландшафт, которые все лили в меня это тонкое, жгучее безумие? Мне казалось, что сквозь стены и свай я ощущаю прикосновение чего-то мягкого; маленький, беспокойный огонек трепетал во мне, дразнил кровь и не угасал. Нехотя я подымался по лестнице, останавливался на каждой ступеньке и вслушивался —

не только слухом, но всем своим существом. Ничто бы меня не удивило; все во мне ожидало чего-то небывалого, неслыханного; я знал: эта ночь не завершится без чего-то чудесного, и духота должна разразиться молнией. Еще раз, стоя у перил лестницы, я ощутил в себе весь истомленный мир, вздыхающий по грозе. Но ничто не шевельнулось. Только тихое дыхание бродило по уснувшему дому. Усталый и разочарованный, я поднялся на последние ступени; моя одинокая комната страшила меня, как гроб.

Тускло блестела в темноте ручка двери, влажная и теплая. Я вошел. Распахнутое настежь окно открывало черный четырехугольник ночи — верхушки густых елей и между ними кусок облачного неба. Темно было внутри и снаружи—в мире и в комнате, но странно и непонятно—у оконной рамы светлело что-то узкое, прямое: как затерявшаяся полоска лунного света. Я в удивлении приблизился, чтобы разглядеть, что это блестит так ярко в безлунной ночи. Я приблизился, и светлое пятно зашевелилось. Я изумился, но не испугался: в эту удивительную ночь я был готов к самым фантастическим событиям; все было уже предчувствовано — все явившееся в сновидении. Никакая встреча меня бы не поразила и меньше всего — эта встреча. И действительно: это была она — та, о ком я бессознательно думал на каждой ступеньке, при каждом шаге, который я делал в этом спящем доме, и чье бодрствование мои возбужденные чувства воспринимали сквозь стены и двери. Облаком представилась она мне, окутанная, словно туманом, ночным одеянием. Она прислонилась к окну и, всем существом обращенная к ландшафту, будто отраженная в мерцающем зеркале его загадочной бездны, она казалась сказкой: Офелия над прудом.

Я подошел ближе, смущенный и взволнованный. Шум, должно быть, дошел до нее. Она повернулась. Ее лицо

было затемнено. Я не знал, видела ли она меня, слышала ли мои шаги: в ее движении не было ни резкости, ни испуга, ни сопротивления. Все было тихо вокруг. Раздавалось только тикание карманных часов, висевших на стене. Вдруг, еле слышно и неожиданно, в тишине прозвучали слова: «Я так боюсь».

С кем она говорила? Узнала ли она меня? Ко мне ли она обращалась? Или говорила со сна? Это был тот же голос, тот же дрожащий звук, который трепетал сегодня на террасе при виде надвигающихся туч, еще до того как встретил меня ее взгляд.

Странно было все это, но я не был ни удивлен, ни смущен. Я подошел к ней, хотел успокоить, взял ее за руку. Рука была горяча и суха, как трут; слабо зашевелились в моей руке ее пальцы. Все в ней было вяло, беспомощно, безжизненно. И только губы прошептали еще раз, как будто издали: «Я боюсь! Я так боюсь!». И тихо вздохнула она, как будто задыхаясь: «О, как душно!». Эти слова, произнесенные шопотом и будто вдали, прозвучали тайной между нами. И все же я чувствовал: они были обращены не ко мне.

Я схватил ее за руку. Она не сопротивлялась, лишь слегка задрожала, как деревья, тогда, в ожидании грозы. Я крепче прижал ее к себе. Без сопротивления, словно теплая, ниспадающая волна, коснулись ее плечи моей груди. Теперь, наконец, я прикасался к ней. Я вдыхал зной ее кожи, влажный аромат ее волос. Я не двигался, она молчала. Странно было все это, и любопытство мое разгоралось. Постепенно росло мое нетерпение. Я коснулся губами ее волос—она не сопротивлялась. Тогда я поцеловал ее в губы—они были сухи и горячи—и, едва я поцеловал ее, они вдруг раскрылись, будто вбирая влагу, но без жажды, без страсти, как у ребенка, сосу-

щего спокойно, вяло, ненасытно. Полной томления ощутил я ее. Как ее губы, присосалось ко мне ее стройное, теплое, сквозь легкое одеяние трепещущее тело, и прикосновение его напоминало мне только — что испытанное прикосновение ночи — бессильное, спокойное, но полное упоения и жажды. И вот, держа ее в своих объятиях — мысли бродили ярко и беспорядочно — я ощутил теплую, влажную землю, изнывающую в трепетной жажде освобождения, ощутил бессильный, знойный, пылающий ландшафт. Я целовал и целовал ее, и мне казалось, будто я обнимал весь огромный, душный, истомленный мир, будто жар, которым пылали ее щеки, был испарением полей, будто ее мягкой, теплой грудью дышала трепещущая земля.

И вот, когда мои блуждающие губы были готовы прикоснуться к ее векам, к глазам, черную вспышку которых я так трепетно ощутил, когда я поднялся, чтобы взглянуть ей в лицо и насладиться его созерцанием, я с изумлением увидал, что веки ее плотно закрыты. Как греческая маска, изваянная из камня, без глаз, без дыхания, покоилась она — Офелия, но уже мертвая, плывущая по волнам, с бледным, безжизненным лицом на черном фоне потока. Я испугался. Впервые я почувствовал действительность в этом фантастическом происшествии. С ужасом я понял, что я овладел спящей, что держал в объятиях опьяненную, большую сомнамбулу, приведенную ко мне только духотой ночи и красной, зловещей луной, — существо, которое не сознает своих поступков, которое меня, может быть, не желает. Я испугался. Меня давила тяжесть ее тела. Тихо я хотел опустить ее в кресло, на кровать, чтобы не вырвать насильно из рук опьяненной чашу наслаждений, которых она, быть может, не хотела мне подарить, чтобы не воспользоваться безумием, бро-

дившим в ее крови. Но, почувствовав, что я ее оставляю она умоляюще прошептала: «Не покидай меня! Не покидай меня!». И еще жарче присосались ко мне ее губы, еще теснее прижалось ко мне ее тело. Страдальчески напряженным было ее лицо с закрытыми глазами, и с ужасом я понял, что она хотела проснуться — хотела и не могла; что ее опьяненное сознание рвалось из заключения и стремилось к свету. Но именно то, что под этой свинцовой маской сна шевелилось что-то, что стремилось вырваться из этой заколдованности, вызывало во мне опасное и соблазнительное желание разбудить ее. Я сгорал от нетерпения увидеть ее бодрствующей, говорящей, живым существом, не только сомнамбулой, и во что бы то ни стало я хотел пробудить к жизни ее бессознательно наслаждающееся тело. Я привлекал ее к себе, я тряс ее, я впивался зубами в ее губы и пальцами в ее руки, я хотел заставить ее открыть глаза и сознательно отдаться тому, к чему побуждал ее неосозванный инстинкт. Но она только сгибалась и болезненно стокала в цепких объятиях. «Еще! Еще!» — лепетала она с мольбой, с бессмысленной мольбой, которая меня возбуждала и лишала рассудка. Я чувствовал, что пробуждение было близко, что оно прорывалось из-под беспокойно шевелившихся, сомкнутых век. Все крепче и крепче я обнимал ее, все теснее прижимал ее к себе — и вдруг я почувствовал, что слеза покатилась из ее глаз, и я вынул ее соленую влагу. Все трепетнее подымалась ее грудь, она стонала, члены ее судорожно сжимались, как будто хотели побороть какую-то сковывавшую их силу, подобно обручу окружившую ее сном, — и вдруг, как молния в мире, насыщенном грозой, что-то в ней сломилось. Снова она стала для меня обременяющей тяжестью, ее губы оторвались от моих, руки упали, и, когда я опустил ее тело на постель, она

лежала, точно мертвая. Я испугался. Невольно я прикоснулся к ней, тронул ее руки и щеки. Они были холодные, одеревеневшие, каменные. Только в висках тихо трепетала кровь. словно мрамор, словно статуя лежала она, с щеками, влажными от слез, тихо дыша напряженными ноздрями. Иногда проходил еще легкий трепет по ней—отливающая волна разгоряченной крови,—но грудь дышала все спокойнее и ровнее. Все больше и больше она напоминала изваяние. Все человечнее—по-детски—все яснее, естественнее становились ее черты. Судорога прошла, она дремала, она спала.

Я остался сидеть на краю постели, трепетно наклонившись над ней. Как спокойное дитя, лежала она с закрытыми глазами и с легкой улыбкой на устах, возбужденная сновидением. Низко я наклонился над ней; каждую линию ее лица я различал отдельно, чувствовал ее дыхание на своей щеке, и чем меньше становилось расстояние между нами, тем отдаленнее и таинственнее представлялась она мне. Где витали теперь мысли той, которая так недавно лежала здесь, окаменевшая, горячим потоком душевной ночи принесенная ко мне, чуждому, и теперь, будто мертвая, выброшенная на берег? Кто она, покоющаяся здесь на моих руках? Откуда она, чья? Я ничего не знал о ней и только чувствовал, что меня ничто не связывает с ней. Я посмотрел на нее—одинокие минуты, тишина которых нарушалась только поспешным тиканьем часов—и старался прочесть разгадку в ее безмолвном лице, но безуспешно. Мне хотелось пробудить ее от сна, здесь, в моей комнате, в таком близком соседстве с моей жизнью, воздвигнувшего между нами стену отчуждения, и вместе с тем я боялся ее пробуждения, первого ее сознательного взгляда. Так сидел я в безмолвии час, может быть, два, оберегая сон этого чуждого

мне существа, и постепенно стало мне казаться, будто это не женщина, не человек, с которым столкнуло меня это странное приключение, а сама ночь, открывшая мне тайну жаждущей, истомленной природы. Мне казалось, будто здесь распростерт передо мною весь обезумевший от зноя мир, будто земля восстала в своих муках и послала ее вестницей этой удивительной, фантастической ночи.

Что-то зазвенело у меня за спиной. Я вздрогнул, как преступник, пойманный на месте преступления. Еще раз зазвенело окно, как будто в него стучал огромный кулак. Я вскочил. За окном открывалась изумительная картина: преобразившаяся ночь, новая и грозная, сверкающая во мгле и полная дикого движения. Шумы, шорохи, свист и вой царили в ней и громоздились в сливавшуюся с небом черную башню; уже кидался мне навстречу в диком порыве холодный, влажный ветер. Из мрака он вырвался, мощный, сильный, кулаками колотил в окна, стучался в дом. Как страшная пасть, раскрылся мрак, тучи неслись и с бешеной быстротой выстраивали черные стены, и что-то злое зазывало между небом и миром. Сломлена была упорная духота этим диким потоком, все несло, набухало, ширилось, перемещалось в бешеном беге, наполнявшем небесную твердь, и деревья, глубокими корнями вросшие в землю, стонали под невидимым свистящим бичом урагана. И вдруг разорвались облака: молния, расколов небо пополам, ударила в землю. И следом за ней прогремели раскаты грома, будто вся башня облаков обрушилась в пропасть. Шум послышался за моей спиной. Она приподнялась. Молния сорвала сон с ее глаз. Растерянно она оглянулась. «Что это», промолвила она, «где я?». И совсем иным прозвучал ее голос. В нем еще слышался страх, но звук его был ясен,

резок и чист, как освеженный воздух. Снова молния осветила ландшафт. На лету засверкали контуры елей, потрясаемых бурей; тучи, бегущие по небу, как взбесившиеся звери; комната в ослепительном белом сиянии, но блее всего был ее бледный облик. Она вскочила. Ее движения вдруг стали свободны — такой я ее еще не видал. Она пристально вглядывалась в меня в темноте. Ее взор показался мне чернее ночи. «Кто вы? Где я?», проговорила она и испуганно забрала раскрывшееся на груди платье. Я приблизился, чтобы успокоить ее, но она ускользнула. «Что вам нужно от меня?», громко вскрикнула она, когда я подошел к ней. Я подыскивал слово, чтобы успокоить ее, заговорить с ней, и теперь только заметил, что не знаю ее имени. Вновь молния осветила комнату. Фосфорически засверкали белые стены; бледная, она стояла передо мной с испуганно протянутыми руками, и в ее пробудившемся взоре была безграничная ненависть. Напрасно старался я во мраке, обрушившемся на нас вместе с громом, взять ее за руку, объяснить ей, она вырвалась, распахнула дверь, освещенную новой молнией, и выбежала из комнаты. И вместе со стуком захлопнувшейся двери раздался раскат грома, как будто небеса свалились на землю.

И поднялся шум: ручьи падали с бесконечной высоты, как водопады, и ураган бросал их, как мокрые веревки из стороны в сторону. Иногда он пригонял к оконным рамам струйки ледяной воды и сладкого,пряного воздуха. Я стоял у окна, глядел вдаль, пока не потекла вода с моих намокших волос. Но какое блаженство ощущать эту чистую стихию! Мне казалось, что зной, паливший меня, разрешился в этих молниях, и мне хотелось закричать от восторга. Я позабыл все кругом; наслаждаясь, я вдыхал свежесть и бодрость; я поглощал эту

прохладу, как земля, как поля; я ощущал блаженство встряхнувшихся деревьев, с легким шумом шелестевших от мокрых ударов дождя. Демонически прекрасна была сладострастная борьба между небом и землей, гигантская брачная ночь, наслаждение которой я сочувственно переживал. Молнией вздрагивало небо, с громом ниспадая на трепещущую землю, и свершалось в этом стонущем мраке яростное слияние выси и глуби, подобно слиянию пола с полом. Деревья сладострастно вздыхали; все ярче сверкали молнии, сплетаясь с далями; раскрыты были горячие жилы небесного свода, они изливались и соединяли свои потоки с земными потоками дорог. Все было разбросано, все переплелось—ночь и мир. Чудесное новое дыхание, в котором аромат полей сочетался с огненным веянием неба, проникло в меня освежающей прохладой. Три недели накопившегося зноя разразились в этой борьбе, и наступившее разряжение я ощущал и в себе. Мне казалось, что буйный дождь проникает в мои поры, что очищающий вихрь шумно обвеивает мне грудь, и я ощутил себя и свое переживание воплощением мира, урагана, дождя, ночи и всего живого в бурном излиянии природы. И потом, когда все постепенно стало успокаиваться, когда молния лишь поблескивала на горизонте синеватым огнем, гром погромыхивал отеческой угрозой и дождь ритмично стучал под улегшимся ветром—тогда и мной овладело успокоение и усталость. Музыка звучала в моих вибрирующих нервах, и мягкое спокойствие снизошло на мои члены. О, заснуть бы теперь вместе с природой и проснуться вместе с ней! Я сбросил одежду и лег в постель. Еще оставался в ней мягкий след чужих форм. Я ощутил его смутно: это странное приключение еще раз коснулось моей памяти, но я уже не понимал его. Дождь шумел и шумел, смывая мои мысли. Я уже переживал их, как

сновидение. Все еще я стремился вернуться к загадочному происшествию, но дождь шумел и шумел; будто колыбель, убаюкивала меня эта сладостно звенящая ночь, и я уплывал в ее сонную глубину.

На следующее утро, подойдя к окну, я увидел преобразенный мир. Ясный, с четкими и яркими контурами, покоился ландшафт в уверенном солнечном блеске, и в вышине, сияющим зеркалом этого покоя, круглился над ним горизонт. Ясно были очерчены границы, бесконечно далеким казалось небо, которое накануне так глубоко врезалось в поля, оплодотворяя их. Но теперь оно было далеко, на расстоянии целых миров и не касалось своей жены—благоухающей, свободно дышащей, умиротворенной земли. Голубая пропасть сверкала прохладой между ними; без вождения, чужие друг другу, обменивались они безразличными взглядами—небо и земля.

Я спустился в зал. Все уже собрались. Иными стали и люди, не похожи они были на тех, что бродили здесь в эти ужасные недели зноя. Все было в движении. Их смех звучал радостно, голоса—мелодично и сильно, исчезла сковывавшая их вялость, спало угнетавшее их бремя духоты. Я сел между ними, не чувствуя к ним ни малейшей вражды, и какое-то любопытство побудило меня найти среди них ту, облик которой растворился в сновидении. И вот, между матерью и отцом, за соседним столиком, сидела та, которую я искал. Она была весела, плечи ее легки, и я слышал ее смех, беззаботный и звонкий. Любопытным взглядом окинул я ее. Она меня не заметила. Она рассказывала что-то веселое, и между словами ее звенел детский смех. Наконец, случайно она взглянула на меня, и смех ее невольно оборвался при этом беглом взгляде. Она посмотрела на меня пристально. Что-то смутило ее: высоко поднялись брови, строго и напря-

женно устремился на меня ее вопрошающий взор, и лицо приняло принужденно-мучительное выражение, будто она старалась что-то вспомнить — и не могла. Полный ожидания, я посмотрел ей прямо в глаза: не выдаст ли она каким-нибудь движением волнение или стыд? Но она уже отвела свой взор. Через минуту он вернулся ко мне. Еще раз бросила она на меня испытующий взгляд. В течение секунды, длинной, напряженной секунды, я чувствовал его твердое, колющее, металлическое острие, глубоко вонзившимся в меня; но сейчас же он покинул меня, успокоенный, и по беззаботной ясности взора, по легкому, почти радостному повороту головы, я понял, что, бодрствующая, она ничего не знала обо мне, что наша близость исчезла вместе с магическим мраком. Чуждыми и далекими стали мы друг другу, как небо и земля. Она разговаривала с родителями, беззаботно шевелились стройные девичьи плечи, и зубы задорно блестели сквозь улыбку под тонкими губами, с которых всего несколько часов тому назад я пил жажду и томление целого мира.

# **ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОЧЬ**

**ПЕРЕВОД И. В. МАНДЕЛЬШТАМА**



Нижеследующие заметки найдены были в запечатанном конверте в письменном столе барона Фридриха Микаэля фон Р... после того как он, осенью 1914 года, пал в сражении при Рава-Русской, служа обер-лейтенантом запаса в одном драгунском полку. Семья покойного, решив, по заглавию и после беглого просмотра этих листков, что они представляют собою всего лишь литературный опыт, передала мне их на рассмотрение и разрешила опубликовать. Я, со своей стороны, смотрю на это произведение отнюдь не как на вымысел, а как на правдивую во всех своих подробностях повесть о том, что действительно пережил усопший и, утаив его имя, предаю гласности эту исповедь, без всяких изменений и добавлений.

\* \*  
\*

Сегодня утром вдруг меня озарила мысль, что мне следовало бы для самого себя записать события той фантастической ночи, чтобы, наконец, обозреть их в связном виде и в естественной их последовательности. И, начиная с этого мгновения, я испытываю необъяснимую потребность изложить письменно это приключение, хотя и сомневаюсь, удастся ли мне, пусть даже приближенно, выразить необычайность происшедшего. Я совершенно лишен так называемого художественного дара, нисколько не искусен в литературе и, если не говорить о некоторых гимназических произведениях шуточного, преимущественно,

характера, то никогда и не пробовал писать. Например, я не знаю даже, существует ли особая, поддающаяся усвоению, техника, позволяющая приводить в порядок чередование внешних событий и одновременное их взаимотражение; я задаюсь также вопросом, способен ли я всегда придавать смыслу надлежащее слово, слову—надлежащий смысл, и тем самым устанавливать то равновесие, которое я бессознательно всегда ощущал при чтении хороших произведений. Но я ведь пишу эти строки только для себя, и они нисколько не предназначены объяснить другим нечто такое, что я с трудом понимаю сам. Они являются всего лишь попыткой наконец-то в известном смысле отделаться от одного происшествия, которое непрерывно занимает мои мысли, приводя их в мучительное брожение, — установить его, поставить перед собою и охватить со всех сторон.

Я не рассказал об этом событии ни одному из своих приятелей, руководясь именно тем чувством, что не смогу им объяснить самое в нем существенное, да и как-то стыдись того, что столь случайные обстоятельства так меня потрясли и переположили. Ведь все в целом представляет собою, в сущности, незначительное приключение. Но едва лишь написав это слово, я уже начинаю замечать, как трудно неопытному человеку выбирать слова надлежащего веса и какая двусмысленность, какая возможность быть истолкованным ложно присуща каждому, самому простому обозначению. Ибо, если я называю свое приключение незначительным, то понимаю это, разумеется, только в относительном смысле, в противоположность крупным драматическим событиям, в которые вовлекаются целые народы со своими судьбами, и понимаю это, с другой стороны, в смысле длительности, потому что все происшедшее развернулось на протяжении каких-нибудь шести

часов. Для меня же это — вообще говоря, мелкое, мало-важное и незначительное — событие имело столь большое значение, что еще и теперь — спустя четыре месяца после той фантастической ночи — я им пылаю и должен напрягать все свои духовные силы, чтобы скрывать его в своей груди. Ежедневно, ежечасно перебираю я в памяти все его подробности, ибо оно стало как бы стержнем всего моего существования. Все, что я делаю и говорю, безотчетно для меня определяется им, мысли мои заняты исключительно тем, что воспроизводят его снова и снова, и тем самым утверждают меня во владении им. И теперь мне вдруг стало ясно то, что я не сознавал еще десять минутами раньше, когда взялся за перо: что я для того лишь излагаю теперь это происшествие письменно, чтобы иметь его перед собою совершенно точно и как бы вещественно зафиксированным, еще раз его прочувствовать и в то же время охватить духовно. Я выразился совсем неверно, совсем ложно, только-что сказав, что хочу от него отделаться; напротив, я хочу еще больше жизни вдохнуть в слишком быстро пережитое, наделить его теплом и дыханием, чтобы иметь возможность постоянно его обнимать. О, я не боюсь забыть хотя бы одну секунду того знойного дня, той фантастической ночи; мне не надобно ни камней, ни вех, чтобы шаг за шагом снова пройти в воспоминаниях путь этих часов: как лунатик, попадаю я в любое время, посреди дня, посреди ночи, в их сферу и вижу в ней каждую подробность, с тою зоркостью, какую знает только сердце, а не мягкая память. Я мог бы и теперь с меньшей уверенностью нанести на бумагу очертания каждого отдельного листка в зеленоющем весеннем ландшафте, я еще теперь, осенью, чувствую нежный, пыльный аромат стоящих в цвету каштановых деревьев; и поэтому, если я еще раз описываю эти

часы, то не из боязни их утратить, а радуясь тому, что их снова обрел. И когда я теперь, в точной последовательности, представляю себе превращения той ночи, то принужден, ради стройности изложения, сдерживаться, потому что стоит мне подумать о подробностях, как в душе моей поднимается какой-то экстаз, своего рода дурман овладевает мною, и мне приходится пропускать воспоминания сквозь запруду, чтобы они в многоцветном опьянении не ринулись друг на друга. Все еще переживаю я со страстным пылом пережитое, тот день 7 июня 1913 года, когда я в полдень сел в фиакр...

Но снова, чувствую я, нужно мне остановиться, потому что испуганно вновь замечаю, как обоюдоостро, как многозначаче каждое отдельное слово. Только теперь, когда мне впервые предстоит нечто в связном виде изложить, я вижу, как трудно заключить в сжатую форму то ускользающее, чем все же является все живое. Только что я написал «Я», сказал, что 7 июня 1913 года, в полдень, сел в фиакр. Но уже это слово ведет к неясности, потому что тем «Я», каким я был 7 июня, я быть уже давно перестал, хотя только четыре месяца прошло с того времени, хотя жить я продолжаю в квартире прежнего «Я» и пишу за его столом, его пером и его собственной рукой. От того прежнего человека, и как раз под влиянием этого события, я отрешился совершенно, я гляжу на него теперь со стороны, бесстрастно и холодно, и могу его описывать, как товарища, сверстника, друга, о котором знаю много существенного, но которым сам я отнюдь уже не являюсь. Я мог бы о нем говорить, порицать его или осуждать и при этом не чувствовать вообще, что он мне принадлежал когда-то.

Человек, каким я был в ту пору, внешне и внутренне мало отличался от большинства людей его социального

класса, который принято, в частности у нас, в Вене, называть, без особой гордости, но вполне убежденно, «хорошим обществом». Мне шел тридцать шестой год; родители мои рано умерли и оставили мне, незадолго до моего совершеннолетия, состояние, оказавшееся достаточно значительным, чтобы вполне избавить меня от забот о заработке и карьере. Таким образом, я неожиданно освободился от одного решения, которое меня в то время очень беспокоило. Как раз об эту пору я окончил университет и стоял перед выбором дальнейшего поприща деятельности, которым явилась бы, вероятно, в силу наших семейных связей и моей рано уже обнаружившейся склонности к спокойно расширяющемуся и созерцательному существованию,—государственная служба. Но тут мне досталось, как единственному наследнику, состояние родителей и обеспечило за мною нежданную праздную независимость, даже в довольно широких пределах роскоши. Честолюбием я никогда не страдал, а поэтому решил сначала, в течение нескольких лет, понаблюдать жизнь, пока сам не почувствую потребности найти себе какой-нибудь круг деятельности. Но так я и остался наблюдателем жизни, ибо, не испытывая никаких особых стремлений, достигал всего в узком кругу своих желаний; разнеживающий и сластолюбивый город Вена, доводящий поистине до художественного совершенства привычку шататься без дела, глазеть по сторонам и быть элегантно, превращающий ее в цель существования, заставил меня совсем позабыть о влечении к серьезной деятельности. Мне достались в удел все удовольствия, доступные изящному, знатному, состоятельному, приятной внешности молодому человеку, лишенному, вдобавок, честолюбия,—безопасные увлечения игрою, охотой, регулярные услады экскурсий и путешествий,—и вскоре я принялся, все с большою тщатель-

ностью и художественностью, украшать эту созерцательную жизнь. Я собирал редкий фарфор, не столько по душевному влечению, сколько ради удовольствия, какое доставляет приобретение навыка и знания в пределах неустойчивой деятельности. Я украсил свою квартиру особого рода итальянскими гравюрами барокко и пейзажами в манере Каналетто, поиски которых у антикваров и приобретение на аукционах были полны для меня спортивного, но несколько не опасного азарта. Занимался многими вещами с охотой и всегда со вкусом, редко пропускал концерты и выставки картин. У женщин я имел успех немалый, и в этой области тоже вкусил, с тайною страстью коллекционера, много памятных и ценных мгновений, постепенно превратившись из простого сластолюбца в знатока и ценителя. В общем, я много переживал такого, что приятно наполняло мой день и позволяло мне считать мою жизнь богатой, и я начинал все больше любить эту теплую, сладостную атмосферу оживленной и все же не ведавшей никаких потрясений молодости, почти уже не испытывая новых желаний, ибо совсем незначительные вещи в безбурном воздухе моих дней способны были претворяться в радость. Хорошо выбранный галстук мог меня привести чуть ли не в веселое настроение; автомобильная поездка, прекрасная книга или свидание с женщиной — дать мне ощущение блаженства. Особенно был мне приятен такой образ существования тем, что он ни в каком отношении, совершенно как безупречно сшитый английский костюм, никому не бросался в глаза. Думается мне, что на меня смотрели, как на приятное явление, в обществе меня любили и охотно принимали, и большинство знакомых называло меня счастливым человеком.

Теперь уж я не мог бы сказать, чувствовал ли сам себя счастливым тот прежний человек, которого я ста-

раюсь представить себе; ибо ныне, когда я, под влиянием пережитого, требую для каждого чувства значительно более полного смысла, мне представляется почти невозможною всякая оценка прежнего моего самочувствия. Но я могу с уверенностью сказать, что в это время, во всяком случае, не чувствовал себя несчастным, потому что почти никогда мои желания и требования к жизни не оставались неисполненными. Однако, как раз то обстоятельство, что я привык получать от судьбы все, чего хотел, а вне этого никаких притязаний к ней не иметь, породило мало-помалу известный недостаток в напряжении, какую-то мерзвенность в самой жизни. Что тогда, в иные минуты смутного постижения, томясь, шевелилось во мне, было, в сущности, не желаниями, а желанием желаний, потребностью вожделье сильнее, необузданней, честолюбивее, не столь удовлетворенно, жить больше, а также, быть может, страдать. Я устранил из своего существования, посредством чересчур разумной техники, все сопротивление, и об этот недостаток сопротивления притупилась моя жизнедеятельность. Я замечал, что вожделье все меньше, все слабее, что какое-то оцепенение овладевает моими чувствами, что я — пожалуй, будет правильнее всего так выразиться — страдаю духовным бессилием, неспособностью к страстному обладанию жизнью. Сначала я стал догадываться об этом изъяне по мелким признакам. Я обратил внимание на то, что все реже начал бывать в театрах, в обществе, на различных сенсационных собраниях, что, покупая книги, о которых я слышал лестные отзывы, оставлял их в течение целых недель неразрезанными на своем столе, что механически продолжая коллекционировать свои любовные похождения, фарфор и древности, я уже не приводил их в порядок и не слишком радовался неожиданному

приобретению, после долгих поисков, какой-нибудь редкой вещи.

Сознал же я вполне это медленное и постепенное ослабление своей духовной энергии только по одному определенному поводу, отчетливо сохранившемся в моей памяти. Я остался на лето в Вене—также под влиянием этой странной вялости, не поддававшейся никаким приманкам новизны,—и вдруг получил из одного курорта письмо от женщины, с которою я в течение трех последних лет был в связи и в любви к которой был даже искренне уверен. Она взволнованно писала мне на четырнадцать страницах, что за эти недели познакомилась там с одним человеком, который занял в ее жизни большое, господствующее место, что она выйдет осенью замуж за него и что наши отношения должны быть прерваны. Она без раскаянья, больше того—с радостью вспоминает прожитое со мною время, вступает в новый брак, сохраняя память обо мне, как о самом дорогом в ее прежней жизни существе, и надеется, что я прощу ей это неожиданное решение. Вслед за этим деловым сообщением взволнованное письмо заканчивалось поистине потрясающими заклинаниями, чтобы я не слишком страдал от этого внезапного разрыва, чтобы я не пытался ее насильно удержать или совершить какой-нибудь безумный шаг. Все стремительнее мчались строки: она умоляла меня найти утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что она с трепетом думает о том, как я приму это сообщение. И в виде пост-скриптума, карандашом, было еще порывисто написано: «Не делай ничего безрассудного, пойми меня, прости меня».

Читая это письмо, я сначала опешил от неожиданности, а потом, когда я его перелистал и начал вторично читать, то почувствовал какой-то стыд, и, будучи осознан

мною, этот стыд быстро повысился до степени ужаса. Ибо ни одно из тех сильных и все же естественных ощущений, которые предвидела моя любовница, даже в слабой мере не шевельнулось во мне. Ее сообщение не причинило мне боли, не вызвало гнева во мне, и уж во всяком случае ни на мгновение не приходило мне на ум какое-либо насилие над нею или над собою. И этот мой душевный холод был все же настолько странен, что не мог не испугать меня самого. Ведь от меня уходила женщина, в течение ряда лет бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое, гибкое тело прижималось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, и ничто во мне не шевельнулось, не возмутилось, ничто не пыталось отвоевать ее снова, ничто не произошло в моей душе из того, что чистый инстинкт этой женщины должен был ожидать от настоящего человека. В этот миг мне впервые уяснилось вполне, как далеко во мне подвинулся процесс окостенения. Я скользил мимо, словно по проточной зеркальной воде, нигде не задерживаясь, не пуская корней, и знал совершенно точно, что этот холод был чем-то мертвенным, трупным, еще не отдававшим, правда, гнилостным запахом тления, не говорившим о безнадежной окоченелости, о жуткой, ледяной бесчувственности, которая предшествует подлинному телесному умиранию, явному распаду.

Со времени этого эпизода я принялся внимательно наблюдать себя и эту странную духовную отупелость во мне, как больной следит за своею болезнью. Когда вскоре после этого умер один мой друг и я шел за его гробом, то прислушивался к самому себе: шевелится ли во мне скорбь, вызывает ли в моем сознании какую-нибудь боль утрата этого близкого мне с детских лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне, я сам себе предста-

влялся каким-то стеклянным предметом, сквозь который вещи просвечивают, никогда не проникая во внутрь, и как я ни силился при этом, да и при многих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами рассудка пробудить в себе чувство, никакого ответа не доносилось из застывших душевных глубин. Люди покидали меня, женщины приходили и уходили — ощущал я это почти так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит по стеклам. Между мною и непосредственным была какая-то стеклянная стена, и разрушить ее напором воли у меня не было сил.

Как ни ясно я это сознавал, подлинной тревоги не вызвало во мне такое открытие, потому что, как я уже говорил, я равнодушно относился к вещам, касавшимся меня самого. Даже для страдания я был уже недостаточно чувствителен. Я довольствовался тем, что этот духовный изъян был так же незаметен для посторонних, как телесное бессилие мужчины обнаруживается только в интимные мгновения, и часто, в обществе, посредством напускной сдержанности, посредством спонтанного преувеличения, я старался с известным тщеславием скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я продолжал вести свой прежний угарный, не знающий трений образ жизни, не изменяя его направления; недели, месяцы легко скользили мимо и медленно, серо скоплялись в годы. Однажды утром я увидел в зеркале седую прядь у себя на виске и почувствовал, что моя молодость медленно струится в другой мир. Но то, что другие называли молодостью, во мне давно миновало. Поэтому прощаться с нею было не очень больно; я ведь и собственную свою молодость не достаточно любил. Даже в отношении ко мне самому строптивое мое сердце молчало.

В силу этой внутренней неподвижности дни мои становились все более однообразными, несмотря на пестроту занятий и обстоятельств. Они выстраивались в тусклый ряд, росли и увядали, как листья на дереве. И совершенно обычно, ничем не выделяясь, без всякого предзнаменования, начался и тот единственный день, который я хочу самому себе описать.

В этот день, 7 июня 1913 года, я поздно встал под влиянием не поблекшего с детских, школьных лет праздничного воскресного настроения; принял ванну, читал газету и перелистывал книги, затем пошел гулять, будучи прельщен теплым летним днем, участливо проникавшим в мою комнату; по привычке прошелся по Грабену, разглядывая экипажи, обмениваясь поклонами с приятелями и знакомыми, кое с кем из них переговариваясь мимоходом. Потом позавтракал вместе с друзьями. Дневные часы были у меня свободны, потому что по воскресеньям я особенно любил, в течение нескольких часов, нераздельно располагать самим собою, всецело отдаваясь на волю случая или какого-нибудь внезапного решения. Когда я затем, возвращаясь от друзей, переходил Ринг, то почувствовал благородную красоту залитого солнцем города и обрадовался его яркому, летнему убранству. Все люди казались веселыми и какими-то влюбленными в праздничный вид пестрой улицы, многие частности бросались мне в глаза и прежде всего то, как пышно разделись в свою новую зелень росшие посреди асфальта деревья. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эту воскресную сутолоку я вдруг воспринял, как чудо, и невольно испытал тоску по зелени, яркости и пестроте. Я вспомнил с некоторым любопытством о Пратере, где теперь, в конце весны, в начале лета, тяжелые деревья стоят, как исполинские лакеи, по обеим сторонам труп-

щейся экипажами главной аллеи и неподвижно протягивают свои белые цветы множеству принарядившихся, элегантных людей. Привыкнув сразу же уступать каждому своему мимолетному желанию, я окликнул первый встретившийся мне фиакр и приказал кучеру ехать в Пратер.

— На скачки, господин барон, неправда ли?— ответил он подобострастно.

Тут только я вспомнил, что на этот день назначены фешенебельные скачки, предшествовавшие розыгрышу дерби, и что все хорошее венское общество собирается туда.

«Странно», подумал я, садясь в фиакр, «смогло ли еще несколько лет тому назад случиться, чтобы я пропустил или забыл такой день». Снова по этой забывчивости почувствовал я, как больной, когда заденешь его рану, душевную черствость, овладевшую мною.

Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее. Скачки, должно быть, уже давно начались, потому что не видно было столь пышной обычно вереницы экипажей, только несколько фиакров порознь мчались под грохот копыт, словно в погоню за незримой целью. Кучер повернулся на козлах и спросил, гнать ли ему коней. Но я сказал ему, чтобы он не торопился, потому что мне было безразлично, опоздаю ли я. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику трибун, чтобы стремиться приехать во время, и моему ленивому настроению больше соответствовало мягко покачиваться в коляске, ощущать нежно шелестящий синий воздух, как море на палубе корабля, и спокойно присматриваться к густолиственным каштановым деревьям, отдававшим по временам вкрадчиво-теплому ветру лепестки своих цветов, которые он, играя, легко поднимал и крутил,

прежде чем уронить их снежинками на аллею. Приятно было давать себя укачивать так, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать себя, без всякого напряжения, окрыленным и уносимым: в сущности, мне стало досадно, когда коляска остановилась во Фройденау перед воротами. Охотнее всего я бы еще повернул, продолжал упиваться мягким днем раннего лета. Но уже было поздно, коляска стояла перед ипподромом.

Глухой гул донесся мне на встречу. Словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где скрывалась от моих глаз взволнованная толпа, порождавшая этот сосредоточенный шум, и невольно припомнилось мне, как в Остенде, чуть только поднимаешься на пляж, из нижнего города, по боковым улочкам, тебя уже обдаёт солеными и резкими порывами ветер, и слышится глухой грохот, прежде еще чем взор охватит пенистый, серый простор с его гремящими валами.

В этот миг, повидимому, происходил один из заездов, но между мною и кругом, по которому неслись теперь лошади, теснилась многокрасочная, гудящая, словно внутренней бурей потрясаемая толпа игроков и зрителей; мне не были скачки видны, но я угадывал каждую фазу их по отражениям азарта. Лошади, очевидно, давно уже были пущены, кучка разредилась, и двое боролись за лидирующее место, потому что из толпы, таинственным образом переживавшей незримые для меня движения, уже вырывались крики и взволнованные призывы. По направлению голов чувствовал я поворот, которого теперь достигли жокеи и животные на продолговатом овале дорожки, потому что весь людской хаос тянулся все в большем единстве, все сплоченнее, как одна вытянутая шель, по направлению к незримому для меня фокусу взглядов, и все выше поднимавшийся прибор влокотал

и ревел в этой единственной вытянутой шее тысячью размолотых, отдельных звуков. И этот прибой рос и вздувался, уже заполняя все пространство, вплоть до равнодушного синего неба. Я взглянул на несколько лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, глаза были выпучены и сверкали, губы прикушены, подбородок жадно вытянут вперед, ноздри раздуты, как у лошадей. Забавно и жутко было мне рассматривать в трезвом состоянии этих не владеющих собою пьяных людей. Рядом со мною стоял на стуле мужчина, щегольски одетый, с лицом, вообще говоря, довольно приятным; теперь, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал по воздуху палкой, словно кого-то поддлестывал, все его тело страстно воспроизводило—для стороннего наблюдателя в этом был невыразимый комизм—движения быстрой скачки. Как на стальных стременах непрерывно постукивал он каблуками по стулу, правой рукою не переставая рассекать воздух палкою вместо хлыста, левою судорожно сжимая белую афишку. И вокруг все больше развевалось этих белых афишек. Как пенные брызги реяли они над этим яростным, серым, шумно бурлившим водоворотом. Теперь, повидимому, две лошади шли на кривой, голова в голову, потому что сразу рев раздробился на два, три, четыре отдельных имени, которые не переставали вырываться, как боевой клич, из одиночных иступленных групп, и крики эти казались клапанами их бредовой одержимости.

Я стоял среди этого оголтелого грохота, холодный, как скала среди бушующего моря, и не мог даже теперь сказать, что испытывал в ту минуту. Прежде всего, я чувствовал комизм всех этих гримас и ужимок, ироническое презрение к плебейскому характеру этих излиятий, но все же и нечто иное еще, в чем я неохотно сам себе

признавался, — какую-то тихую зависть к такому возбуждению, к такой пылкой страстности, к жизненной силе, таившейся в этом фанатизме. «Что должно было бы произойти», думал я, «чтобы до такой степени взволновать меня, привести в такое лихорадочное состояние; чтобы по телу моему разлился жар, а изо рта невольно вырывались крики?». Я не представлял себе такой денежной суммы, получение которой могло бы меня так зажечь, такой женщины, которая бы меня так возбудила, ничего, ничего не существовало, способного довести мои онемелые чувства до такого пожара! Перед внезапно на меня направленным пистолетом сердце мое, за миг до смерти, не билось бы так дико, как вокруг меня стучали, из-за горсточки золота, сердца десятков тысяч людей.

Но вот, повидимому, одна лошадь уже подходила к старту, потому что в слитном, становившемся все более пронзительным крике тысяч голосов зазвенело, как натянутая струна, одно определенное имя и резко вдруг разорвалось. Музыка заиграла, толпа внезапно растеклась. Один заезд окончился, один бой разрешился, напряжение разрядилось в пенящуюся, движимую затухающими колебаниями сутолоку. Толпа, только-что представлявшая собою пучок страсти, распалась на множество отдельных, бегущих, смеющихся, говорящих людей; спокойные лица снова выплыли из-за уродливой маски возбуждения; в игорном хаосе, на несколько мгновений спаявшем эти тысячи в единую раскаленную глыбу, начали опять выслаиваться человеческие группы, сходящиеся, расходившиеся, — люди, которых я знал и которые со мною здоровались, люди чужие, которые окидывали друг друга холодно — учтивыми взглядами. Женщины критически осматривали одна другую в новых своих туалетах, мужчины жадно поглядывали на них; то светское любопыт-

ство, которое, в сущности, является занятием для безучастных людей, опять начинало обнаруживаться. Они выискивали, пересчитывали, проверяли друг друга: все ли в сборе, все ли элегантно. Едва очнувшись от хмеля, все эти люди не знали уже, антракты ли составляют цель этого светского сборища или самые скачки.

Я расслаживал посреди этой разгоряченной толпы, кланялся и благодарил, с наслаждением вдыхал — ведь это была атмосфера моего существования — запах духов и элегантно, которым веяло от этого калейдоскопического муравейника, и с большим еще упоением — тихий ветерок, долетавший со стороны лугов Пратера и согретых летним солнцем лесов, ласково игравший кисеею женских туалетов. Несколько знакомых пытались заговорить со мною; Дпана, красивая актриса, приветливо кивнула мне головою из ложи, но я ни к кому не подходил. Мне было неинтересно беседовать сегодня с кем-нибудь из этих светских людей, мне было скучно видеть в их зеркале самого себя; только общую картину хотел я воспринимать, шелестяще-чувственное возбуждение, разлитое по этой толпе (ибо чужое возбуждение для безучастных составляет самое приятное зрелище). Несколько красивых женщин прошли мимо меня, я взглянул нагло, но без непосредственного вожделения, на их груди, трепетавшие под легким газом от каждого их шага, и про себя смеялся над полутягостным, полусладостным смущением, какое должны были испытывать они, под чувственными, оценивающими взглядами, будучи так бесстыдно обнажены. В сущности, меня не прельщала ни одна, мне только доставляло некоторое удовольствие напускать на себя такой вид, игра с мыслью, с их мыслями, радовала меня, приятно было телесно соприкасаться с ними, чувствовать магнетическое подрагивание в глазах; ибо для меня, как

для всякого душевно-холодного человека, подлинным эротическим наслаждением было вызывать в другом смятение и зной вместо того, чтобы самому разгораться. Только теплое дуновение любил я ощущать, которым обдаёт нашу чувственность присутствие женщины, а не подлинный жар, одно лишь побуждение, а не возбуждение. Так я прогуливался, и теперь, принимая взгляды, отражал их легко, как мячики, вкушал, не хватая, осязал, не чувствуя, будучи только легко согрет теплым сладострастьем игры.

Но и это мне скоро прискучило. Все те же люди. проходили мимо, я знал уже наизусть их лица и жесты. Поблизости оказался свободный стул. Я уселся. Вокруг меня опять возникло в группах вихревое движение, люди беспокойнее забегали и стали толкаться; очевидно, начался новый заезд. Я не интересовался им, сидел небрежно и как-то дремотно в клубах своей папиросы, уносившихся белыми завитками в высь, светлевших и таявших, как облака в весенней синеве.

В этот миг началось то единственное, то неслышанное событие, которым и теперь определяется моя жизнь. Я могу совершенно точно установить это мгновение, потому что случайно взглянул на часы. Было три минуты четвертого в этот день, 7 июня 1913 года. Итак, я взглянул, с папиросою в руке, на белый циферблат, совершенно уйдя в это ребячливое и смешное созерцание, когда услышал, как вплотную за моей спиною громко рассмеялась женщина, тем резким, возбужденным смехом, который мне нравится у женщин, тем смехом, который вылетает с теплою, восторженною непосредственностью из разогретого кустарника чувственности. Невольно повернул я голову, собираясь уже взглянуть на женщину, чья громкая чувственность дерзко ударила по моей беспечной созерцательности, как искрящийся белый камень по глу-

тому, тинистому пруду, — но сразу сдержался. Остановило меня нередко уже овладевавшее мною странное желание позабавиться, промзвести небольшой и безопасный психологический эксперимент. Я еще не хотел видеть смеявшуюся, меня влекло сперва занять этой женщиной свою фантазию; представить ее себе, в своего рода предвкушении, восполнить в воображении этот смех каким-то лицом, ртом, шеей, затылком, грудью, целостным образом живой, дышащей женщины.

Она, очевидно, стояла теперь прямо за моей спиной. Смех опять перешел в беседу. Я напряженно прислушивался. Она говорила с легким венгерским акцентом, очень быстро и живо, широко растягивая гласные, точно пела. Меня забавляло теперь присочинить к этой речи определенный облик и по возможности обстоятельно разработать эту фантазму. Я придал ей темные волосы, темные глаза, широкий, чувственно изогнутый рот, с совершенно белыми, крепкими зубами, очень узкий маленький нос, но с трепещущими круто выгнутыми ноздрями. К левой щеке я приклеил мушку, в руку положил стэк, которым она, смеясь, легко похлопывала себя по бедру. Она продолжала говорить. И каждое слово прибавляло новую деталь к молниеносно возникшему в моей фантазии образу: узкая девическая грудь, темно зеленое платье с косо пристегнутой бриллиантовой брошью, светлая шляпа с белым пером. Все яснее становилась картина, и я уже ощущал эту чужую женщину, незримо стоявшую за моей спиной, в зрачке своем, как на освещенной пластинке. Но я не хотел поворачиваться, стремясь усилить эту игру воображения. Какой-то тихий трепет сладострастия примешался к дерзким грезам, я закрыл глаза, будучи уверен, что, когда я подниму веки и оглянусь на нее, внутренний образ в точности совпадет с внешним.

В этот миг она появилась передо мною. Я невольно открыл глаза — и рассердился. Я нелепо промахнулся все было иначе; мало того — все каким-то злостным образом контрастировало с моим вымыслом. Она была не в зеленом, а в белом платье, была не стройна, а полна, с пышными бедрами, нигде на пухлой щеке не видно было воображенной мушки, волосы выбивались рыжевато-белокурыми, а не черными прядями из-под шлемообразной шляпы. Ни один из моих признаков не соответствовал ее облику; но эта женщина была красива, вызывающе красива, хотя я старался, уязвленный в своем глупом тщеславии психолога, не признавать этой красоты. Почти враждебно взглянул я на нее; но даже то, что во мне сопротивлялось, ощущало сильное чувственное обаяние, исходившее от этой женщины, манящую, животную прелесть ее плотных и в то же время мягких форм. Теперь она снова громко рассмеялась, показав белые, крепкие зубы, и я должен был признаться, что этот горячий, чувственный смех вполне гармонировал с ее пышной фигурой; все в ней было так ярко и вызывающе, выпуклая грудь, выдвигающийся при смехе подбородок, острый взгляд, вздернутый нос, рука, сильно вонзившая зонтик в землю. Здесь было женское начало, стихийная сила, сознательное, захватывающее прельщение, плотью ставший маяк сладострастия. Рядом с нею стоял изящный, немного поблекший офицер и что-то ей увлеченно говорил. Она его слушала, улыбалась, смеялась, возражала, но все это только вскользь, потому что в то же время взгляд ее скользил повсюду, ноздри трепетали, как бы всем навстречу. Она вбивала внимание, улыбки, взгляды со стороны каждого проходившего и со стороны всей мужской толпы. Взор ее все время блуждал то вдоль трибун, чтобы вдруг, радостно узнав кого-нибудь, отве-

тить на поклон, то влево, то вправо, между тем как она не переставала с тщеславной улыбкой слушать офицера. Только меня, заслоненного ее спутником и находившегося ниже поля ее зрения, не касался еще ее взгляд. Это было мне досадно. Я встал — она меня не видела. Я продвинулся ближе — она опять стала рассматривать трибуны. Тогда я решительно к ней подошел, поклонился ее спутнику и предложил ей стул. Она удивленно взглянула на меня, улыбающийся блеск мелькнул в ее глазах, губы вкрадчиво изогнулись в усмешку. Затем она меня коротко поблагодарила и взяла стул, но не села на него. Только своими полными, до локтей обнаженными руками оперлась она мягко на спинку и воспользовалась легким изгибом тела, чтобы явственнее показать его формы.

Досада, вызванная во мне неудачным психологическим опытом, давно улеглась, меня прельщала только игра с этой женщиной. Я немного отступил к стене трибуны, откуда мог ее свободно и все же незаметно для других разглядывать, оперся на свою трость и стал искать ее глаза своими. Она это заметила, немного повернулась в сторону моего наблюдательного поста, но все же так, что это движение показалось совершенно случайным, не избегала моего взгляда, отвечала на него при случае, но нимало не обязывающе. Глаза ее попрежнему блуждали, всего касались, ни к чему не приковывались. Только ли при встрече с моими излучали они неопределенную улыбку, или она дарила ее каждому, — этого нельзя было решить, и эта, именно неопределенность раздражала меня. В промежутках, когда взор ее падал на меня, как белый луч, он казался полным обещания, но теми же сталью сверкающими зрачками она без всякого разбора парировала всякий брошенный в ее сторону взгляд, только ради кокетливого увлечения игрою, а главное, ни на мгновение не отры-

ваясь от беседы со своим спутником, которая ее, повидимому, интересовала. Нечто ослепительно дерзкое было в этих страстных выпадах, виртуозность кокетства или прорвавшийся избыток чувственности. Невольно я приблизился на шаг: ее холодная дерзость передалась мне. Я уже не в глаза ее глядел, а деловито рассматривал ее с головы до ног, взглядом срывал с нее одежду и чувствовал ее нагою. Она следила за моим взглядом, несколько не оскорбляясь, улыбаясь углами рта болтливому офицеру, но я замечал, что этой улыбкой она подтверждает понимание моего намерения. И когда я затем взглянул на ее маленькую ногу, нежно выступавшую из-под белого платья, она спокойно скользнула вдоль платья контролирующим взглядом. Затем, в следующее мгновение, она как бы случайно подняла ногу и поставила ее на нижнюю перекладину стула, так что я сквозь ажурную юбку видел чулки до колен, но в то же время ее улыбка, обращенная к спутнику, словно сделалась какою-то ироничной или коварной. Очевидно, она играла со мною так же безучастно, как я с нею, и мне приходилось ненавистнически дивиться утонченной технике ее наглости; ибо, украдкой предоставляя мне постигать чувственность своего тела, она в то же время польщенно прислушивалась к нашептыванию своего спутника, давала и брала одновременно, и то и другое — только шутя. В сущности, я был ожесточен, я ненавидел в других этот род холодной и злобно-расчетливой чувственности, именно потому, что ощущал ее столь кровосмесительно-близкое родство с моею собственной искушенной бесстрастностью. Но все же я был взволнован, быть может, в большей мере ненавистью чем вождением. Нагло подошел я ближе и грубо ощупал ее взглядом. «Я хочу тебя, ты красивое животное», — говорил мой недвусмысленный жест и, повидимому, губы мои

невольно шевельнулись, потому что она с тихим презрением усмехнулась, отвернувшись в сторону от меня, и опустила платье над обнаженной ногой. Но в следующий миг черные зрачки начали опять, искрясь, блуждать по сторонам. Было совершенно очевидно, что она была так же бесстрашна, как и я, и достойна меня, что мы оба холодно играли чужим пылом, который сам был всего лишь нарисованным огнем, красивым, однако, с виду, и с которым весело было играть посреди знойного дня.

Вдруг напряженность угасла в ее лице, искрящийся блеск потух, маленькая досадливая складка очертилась вокруг только-что улыбавшегося рта. Я взглянул в ту же сторону: маленький, толстый господин, в широко облекавшем его костюме, торопливо к ней приближался, нервно вытирая платком влажные от возбуждения лоб и лицо. Из-под второпях на бекрень надетой шляпы видна была сбоку большая плешь (невольно я почувствовал, что на ней, под шляпою, застыли, должно быть, капли пота, и почувствовал отвращение к этому человеку). В унизанных перстнями пальцах он держал целую пачку талонов, сопел от волнения и тотчас же, не глядя на свою жену, громко заговорил по-венгерски с офицером. Я сразу в нем угадал фанатика конского спорта, какого-нибудь крупного лошадиного барышника, для которого тотализатор был единственным экстазом, пленительным суррогатом возвышенного. Его жена в этот миг сказала ему, повидимому, нечто укоризненное (она явно стеснялась его присутствия и утратила свою стихийную уверенность), ибо он привел в порядок (очевидно, по ее указанию) свою шляпу, потом фамильярно улыбнулся ей и с ласковым добродушием похлопал ее по плечу. Она гневно вздернула брови, негодуя на такую супружескую интимность, тяготившую ее в присутствии офицера, а еще больше,

пожалуй, в моем. Он как будто попросил извинения, сказал опять по-венгерски несколько слов офицеру, на которые тот ответил-любезно осклабясь, но затем ласково и несколько подобострастно взял под руку жену. Я чувствовал, что она стыдится в нашем присутствии близости к нему, и наслаждался ее унижением, сосмешанным чувством насмешки и отвращения. Но она уже опять немного овладела собою, и, между тем как она мягко оперлась на его руку, взгляд ее иронически скользнул в мою сторону, как бы говоря: «Вот видишь, вот кому я принадлежу, а не тебе». Я испытывал ярость и в то же время тошноту. Собственно говоря, мне хотелось повернуться к ней спиной и пойти дальше, чтобы показать ей, что супруга столь вульгарного толстяка не может меня больше интересовать. Но чары были слишком сильны. Я остался.

В этот миг раздался пронзительный сигнал старта. Сразу же эта болтливая, тусклая, косная толпа всколыхнулась и опять со всех сторон, толкаясь и бурля, хлынула вперед к барьеру. Мне понадобилось известное усилие, чтобы не дать себя увлечь в водоворот, потому что я хотел как раз в этой сутолоке остаться поблизости от нее, в надежде, что тут представится случай для решающего взгляда, жеста, какой-нибудь внезапной наглой выходки, какой именно — я еще не знал, и поэтому я упорно проталкивался к ней сквозь торопливую толпу. В это как раз мгновение толстый супруг протиснулся вперед, в намерении занять удобное место подле трибуны, и мы оба, таким образом, каждый под влиянием своего порыва, так сильно столкнулись друг с другом, что его шляпа полетела на землю и засунутые за ее ленту талоны рассыпались широким полукругом, усеяв собою песок в виде красных, синих, желтых и белых мотыльков. На мгновение он вперил в меня взгляд. Машинально я хотел извиниться,

что какая-то злая воля сжала мне губы, мало того: я глядел на него холодно, с тихим, дерзким и оскорбительным вызовом. Взгляд его на секунду вспыхнул от сильного прилива робко подавленной ярости, но малодушно погас перед моим. С незабываемой, почти трогательной робостью глядел он на протяжении другой секунды в мои глаза, потом отвернулся, вспомнил вдруг про свои талоны и нагнулся, чтобы поднять их с земли заодно со шляпою.

С нескрываемым гневом, зардевшись от волнения, жена блеснула на меня глазами, оставив его руку: я видел с каким-то сладострастьем, что она охотнее всего ударила бы меня. Но я продолжал стоять совершенно хладнокровно и небрежно и наблюдал с улыбкою, не помогая, как, задыхаясь, нагибался тучный муж и ползал у моих ног, подбирая свои талоны. Воротник у него высоко был задран, как перья у нахохлившейся курицы, широкая складка жира образовалась на красном затылке, он астматически сопел. Невольно, при виде этого сопящего человека, возникла у меня непристойная и тошнотворная мысль, я представил его себе в супружеском общении с женою и, почерпнув смелость в этом представлении, рассмеялся ей прямо в лицо, потешаясь над ее уже еле сдерживаемым гневом. Она стояла, теперь снова бледная, в нетерпении, с трудом владея собою, — наконец-то я все же вырвал у нее искреннее, подлинное чувство: ненависть, необдуманный гнев! Охотнее всего я продлил бы для себя эту злую сцену в бесконечность. С холодным сладострастьем следил я за тем, как он мучится, подбирая талон один за другим. Какой-то проказливый чорт сидел у меня в глотке, все время хихикавший и подбивавший меня на смех — приятнее всего мне было бы вышутить или пощекотать немного палкою эту мягкую, ползавшую мясную тушу: я даже не помню, владела ли мною когда бы то ни было более

сильная злоба чем при этом искрометном торжестве над унижением нагло игравшей женщины.

Но вот несчастный собрал, наконец, все свои талоны, кроме одного, синего, который упал подальше и лежал на песке, как раз передо мною. Он одышливо поворачивался во все стороны, искал его своими близорукими глазами—пенснэ сдвинулось у него на самый кончик влажного от испарины носа, — и этой секундою воспользовалась моя каверзная злоба, чтобы продлить его забавное рвение: безвольно повинуюсь шаловливости, достойной школьника, я быстро выдвинул ногу и прикрыл подошвой талон, так что найти его он не мог бы, несмотря ни на какие усилия, пока на это не согласился бы я. И он искал, искал неутомимо, посапывая, пересчитывая все наново разноцветные карточки; ясно было, что одной — моей — он не досчитывался, и когда посреди возраставшего гула он снова хотел приняться за поиски, его жена, которая, судорожно прикусив губы, избегала моих насмешливых взглядов, не смогла больше сдержать свое гневное нетерпение.

— Лайос, — властно крикнула она ему вдруг, и он встрепенулся, как лошадь при звуке трубы, еще раз ищущим взором окинул песок — у меня было такое чувство, точно спрятанный талон щекочет мне ступню, и я с трудом удержался от смеха — потом послушно вернулся к жене, и та, с какою-то строптивою поспешностью увлекла его прочь, в сутолоку, пенившуюся все сильнее.

Я продолжал стоять на месте, не испытывая никакого желания последовать за ними. Эпизод был для меня завершен; чувство эротического напряжения приятно разрядилось в веселое настроение; возбуждение совершенно покинуло меня, не оставив никаких следов, кроме здорового ощущения сытости, — утолена была моя внезапно про-

рвавшаяся злоба, — наглого, почти шаловливого удовлетворения тем, что проделка удалась.

Спереди тесно сгрудились люди, волнение уже начинало хлокотать и напирать в виде слитной, грязной, черной волны на барьер, но я совсем не смотрел в ту сторону; я уже начинал скучать и подумывал о том, чтобы прогуляться по Криау или поехать обратно. Но едва лишь я непроизвольно ступил ногою вперед как заметил синий талон, забытый на земле. Я поднял его и держал, играя, в пальцах, не зная, как с ним поступить. Смутно возникла у меня мысль возвратить его «Лайосу», что могло бы послужить превосходным поводом к знакомству с его женою; но я чувствовал, что она меня больше не интересуется, что недолгий зной, которым опажнуло меня это приключение, давно остужен моим старым равнодушием. Большого чем этот борющийся, вызывающий обмен взглядами, я не требовал от супруги Лайоса, — толстяк был мне все же слишком противен, чтобы я мог делить ее тело с ним, — нервный трепет я вкусил и теперь ощущал уже только спокойное любопытство, приятный разряд.

Стул находился все там же, покинутый и одинокий. Я удобно развалился на нем, закурил папиросу. Передо мною опять начиналось бушевание страстей, я даже не прислушивался: повторения меня не прельщали. Я спокойно смотрел на стлавшийся табачный дымок и думал о Меранском Гильфе, где я двумя месяцами раньше смотрел, на брызжущий водопад. Это было совсем как здесь: тот же бурно возраставший гул, от которого не становилось ни тепло, ни холодно, то же бессмысленное звучание среди молчаливо-синего пейзажа. Но в этот миг азарт достиг апогея, снова замелькала над черным людским прибором пена зонтиков, шляп, криков, платков, снова слились голоса воедино, снова из гигантской части толпы выр-

вался — иначе только окрашенный — возглас. Я слышал одно имя, тысячекратно, с ликованием, звоном, экстазом, отчаянием провозглашаемое: «Кресси! Кресси! Кресси!» И снова, как натянутая струна, оно разорвалось (какую монотонность сообщает повторение даже страстям!). Заиграла музыка, толпа распозлзлась. Взметнулись доски с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий талон, оставшийся у меня в руке. На нем тоже стояла семерка.

Я невольно рассмеялся. Талон выиграл, этот славный Лайос поставил верно. Итак, я по злобе своей еще и обобрал толстого супруга: сразу вернулось ко мне мое проказливое настроение, теперь меня интересовало, во сколько ему обошлось мое ревнивое вмешательство. В первый раз присмотрелся я к синей карточке: это был талон на двадцать крон, и Лайос поставил их в ординаре. Это могло составить приличную сумму. Без долгих размышлений, повинувшись только щекотанию любопытства, я дал торопливой толпе увлечь себя по направлению к кассе. Я вдвинут был в какую-то очередь, предъявил талон, и костлявые, проворные руки человека, чье лицо мне даже не было видно за перегородкою, сунули мне на мраморную доску девять билетов по двадцать крон.

В этот миг, когда мне уплачены были деньги, настоящие деньги, синие кредитки, смех у меня замер в гортани. Сразу зашевелилось неприятное чувство. Невольно я отвел руки назад, чтобы не прикоснуться к чужим деньгам. Охотнее всего я оставил бы синие кредитки на доске, но за мною уже теснились люди, нетерпеливо ждавшие выигранных ими денег. Мне поэтому ничего иного не оставалось как взять деньги, — с омерзением в пастьцах: словно синие языки огня горели банкноты в руке, и я ее

невольно отводил в сторону, как будто и рука, их взявшая, не мне принадлежала. Тотчас же я понял фатальность положения. Против моей воли, шутка превратилась в нечто такое, что не должно было произойти с человеком приличным, с джентльменом, с офицером запаса, и я не решался перед самим собою назвать этот поступок надлежащим именем. Ибо это были не открытые, а коварством добытые, украденные деньги.

Вокруг меня жужжали и реяли голоса, люди теснились и толкались перед кассами. Я все еще стоял неподвижно, с отведенной в сторону рукою. Что было мне делать? Сначала возникла самая естественная мысль: разыскать выигравшего, извиниться и возвратить ему деньги. Но это было неосуществимо, особенно в присутствии того офицера. Я ведь был лейтенантом запаса и за такое признание немедленно поплатился бы чином; ибо, пусть бы я даже нашел талон, получение денег было некорректным поступком. Я подумывал также о том, не уступить ли мне инстинкту, щекотавшему мои пальцы, не смять ли и не выбросить ли банкноты, но и это на людях могло броситься кому-нибудь в глаза и породить подозрение. Но я ни за что, ни на мгновение не хотел оставлять у себя чужие деньги или же положить их в бумажник, чтобы позже подарить их кому-нибудь: привитое мне с детства, подобно привычке к чистому белью, чувство опрятности испытывало омерзение перед каждым, пусть мимолетным, прикосновением к этим кредиткам. «Отделаться, только бы отделаться от этих денег», лихорадочно шептал мне какой-то голос, — каким бы то ни было путем». Невольно я стал смотреть по сторонам, и в то время как беспомощно высматривал, нет ли поблизости какого-нибудь укромного уголка, какой-нибудь не наблюдаемой возможности, я заметил, что люди опять начали проталкиваться к кассам,

но теперь уже с деньгами в руках. Это была освобождающая мысль. Швырнуть обратно деньги злему случаю, который мне подбросил их, бросить их опять в прожорливую пасть, которая проглатывала в этот миг с тою же жадностью новые ставки, серебро и банкноты, — да, это было правильно, это было правильно, это было подлинным освобождением.

Я рванулся с места, побежал туда, вклинился в очередь. Только два человека стояли еще передо мною, первый уже подошел к тотализатору, когда я вдруг сообразил, что совсем не мог бы назвать лошадь, на которую ставлю эти деньги. Жадно прислушался я к раздававшимся вокруг меня словам.

— Вы ставите на Равахоля? — спросил кто-то.

— Разумеется, на Равахоля, — ответил ему спутник.

— Вы думаете, у Тедди нет шансов?

— У Тедди? Ни малейших. Он в гандикапе совсем сплеховал. Это блеф.

Как умирающий от жажды, проглотил я эти слова. Итак, Тедди был плох, Тедди не мог выиграть. Тотчас же я решил поставить на него. Я сунул деньги в окошко, назвал только-что впервые услышанное мною имя Тедди в ординаре, чья-то рука, бросила мне талоны. Сразу сделался я теперь обладателем девяти красных с белым карточек вместо одной. Это было все еще тягостное чувство; но как ни как оно не так было жгуче и унизительно, как непосредственное осязание шелестящих денег.

Я опять почувствовал себя легко, почти беззаботно; от денег я теперь отделался, покончил с неприятною стороною приключения, и оно приняло опять характер такой же шутки, с какой началось. Спокойно усевшись опять на свой стул, я закурил папиросу и стал пускать кольцами дым. Но мне не сиделось, я встал, принялся ходить взад

и вперед, опять опустился на стул. Удивительная вещь: блаженная мечтательность исчезла бесследно. Какая-то нервность колюще пробегала у меня по телу. Сначала я думал, что это неприятное чувство вызвано возможностью встретить Лайоса и его жену в струившейся мимо толпе; но как могли бы они догадаться, что эти новые талоны принадлежат им? Не мешало мне и волнение публики, напротив, я внимательно следил, не начинает ли она опять уже тесниться к барьеру, и даже поймал себя на том, как все время приподнимался, чтобы смотреть на флажок, который взвивается в начале заезда. Так вот это что было — нетерпение, перемежающаяся лихорадка ожидания: скорее бы уже начался заезд и навсегда кончилось это тягостное положение.

Мимо пробежал мальчишка с программами. Я окликнул его, купил программу и принялся разбирать непонятные, на чужом жаргоне напечатанные слова, пока не набрел, наконец, на Тедди, на фамилию его жокея, владельца конюшни и цвет: красный с белым. Но почему это так меня интересовало? Я раздраженно смял листок и отшвырнул его, встал, сел опять. Мне вдруг стало очень жарко, — пришлось вытереть платком влажный лоб, — и воротник стал мне тесен. Заезд все еще не начинался.

Наконец, звонок задрезжал, люди хлынули, и в этот миг я с ужасом почувствовал, как этот звон, точно будильник, пробудил и меня, в испуге, от какого-то сна. Я так порывисто вскочил со стула, что он опрокинулся, и поспешил — нет, побежал — жадно вперед, крепко сжимая в кулаке талоны, прямо в толпу, словно снедаемый неистовой боязнью опоздать, пропустить нечто чрезвычайно важное. Грубо растолкав людей, я пробрался к переднему барьеру и бесцеремонно рванул к себе стул, которым хотела воспользоваться одна дама. Вся свою бестактность

и бешенство я сразу понял по ее глазам, — это была моя добрая знакомая, графиня Р., и я уловил ее гневный взгляд под высоко поднятыми бровями, но из стыда и упрямства холодно отвернулся и вскочил на стул, чтобы видеть ипподром.

Где-то вдали сгрудилась на лужайке у старта небольшая кучка беспокойных лошадей, которых с трудом сдерживали маленькие жокеи, похожие на пестрых полишинелей. Я сразу же постарался узнать среди них моего, но зрение у меня не изодренное, и в глазах так странно и знойно все двоилось, что мне не удавалось различить среди многоцветных пятен красный с белым цвет. В этот миг раздался второй звонок и, как семь пестрых стрел с тетивы, полетели лошади в зеленый коридор. Для спокойного эстетического созерцания было, вероятно, наслаждением наблюдать, как скакали узкие животные и неслись над дерном, почти не касаясь грунта; но я всего этого не воспринимал, я только делал отчаянные попытки узнать мою лошадь, моего жокея и проклинал себя за то, что не захватил с собою бинокля. Как ни выгибался я и ни вытягивался, я видел только не то четыре, не то пять насекомых, сплетавшихся в один летящий клубок; только форма его начала теперь, у меня на глазах, постепенно изменяться; легкая стая клинообразно удлинилась на повороте, спереди заострилась, а с боков стала крошиться. Борьба разгорелась жарко: три или четыре лошади, совершенно распластавшись в галопе, плоско, как цветные бумажные полоски, слипались друг с другом; то одна, то другая выдвигалась на голову вперед. И невольно я вытягивался всем своим телом, как будто мог придать их скачке еще большую стремительность этим подражательным, пружинящим, страстно напряженным движением.

Вокруг меня возбуждение росло. Некоторые более опытные зрители, вероятно, уже на кривой различили цвета, потому что имена взлетели теперь, как ракеты над смутным гулом. Подле меня стоял человек, неистово вытянувший руки, и когда в этот миг выдвинулась одна лошадиная голова, он заорал, стуча ногами, мерзко, пронзительным и торжествующим голосом: «Равахоль! Равахоль!». Я увидел, действительно, синее мелькание жокея на этой лошади, и ярость охватила меня оттого, что не моя лошадь побеждала. Все невыносимее делался для меня пронзительный рев моего противного соседа: «Равахоль! Равахоль!». Во мне клокотало холодное бешенство, охотнее всего я ударил бы его кулаком в широко раскрытую черную дыру кричащего рта. Я дрожал от гнева, как в лихорадке, чувствовал, что каждую минуту могу совершить какое-нибудь безрассудство. Но тут еще другая лошадь увязалась непосредственно за первой. Может быть, это был Тедди, может быть, может быть — и эта надежда окрылила меня. И вправду, мне показалось, будто над седлом мелькнула красная рука и чем-то хлестнула по лошадиному крупу, это мог быть Тедди, это должен, непременно должен быть Тедди! Но почему не гонит он его, негодий? Еще раз — хлыстом его! Еще раз! Вот, теперь уж он совсем близко от первого. Вот уже отстает только на пядь. Почему Равахоль? Равахоль? Нет, не Равахоль! Не Равахоль! Тедди! Тедди! Вперед, Тедди! Тедди!

Вдруг я откинулся назад. Что — что это было? Кто крикнул так? Кто тут орал: «Тедди! Тедди!»? Да ведь это я сам кричал. И посреди безумия, я испугался сам себя. Я хотел сдержатъ себя, овладеть собою, посреди лихорадки меня стал мучить внезапный приступ стыда. Но я не мог оторвать взглядов от двух лошадей, точно сросшихся друг с другом, и, повидимому, это был дей-

ствительно Тедди, боровшийся с проклятым, горячо мне ненавистным Равахолем, потому что вокруг меня поднялся теперь громкий и многоголосый, пронзительно-высокий крик: «Тедди! Тедди!», — и крик этот опять погрузил меня в страсть, меня, выплывшего на поверхность только на одно мгновение. Он должен был, обязан был выиграть, и в самом деле, вот, вот из-за мчавшейся лошади выдвинулась голова другой, только на четверть, а вот и на половину, а вот уже и шея видна — в этот миг звонко задребезжал звонок и взорвался единый крик торжества, отчаяния, гнева. На одно мгновение желанное имя заполнило собою весь синий небосвод. Потом оно рухнуло, и где-то зашумела музыка.

Разгоряченный, весь мокрый, со стучащим сердцем соскочил я со стула. Мне нужно было некоторое время посидеть, так ошалел я от иступленного возбуждения. Экстаз, какого я никогда еще не переживал, заливал меня, бессмысленная радость от сознания, что случай так рабски повинуется моему вызову; тщетно старался я уговорить себя, что лошадь выиграла вопреки моей воле, что мне хотелось бы проиграть эти деньги. Я не верил этому сам и уже чувствовал в своем теле страшную тягу, меня куда-то волшебною силою влекло, и я знал, куда меня влечет: я хотел видеть победу, осязать ее, держать, ощущать в руках деньги, — много денег, синие, шелестящие билеты, а в нервной системе — ту же дрожь. Какое-то совсем необыкновенное, дикое вожделение овладело мною, и никаким чувством стыда я уже не мог его побороть. И не успел я встать как уже поспешил, побежал к кассе, грубо, раздвинутыми локтями проталкиваясь между ожидающими у окошка, нетерпеливо отбрасывая в сторону людей, только чтобы увидеть деньги, подлинные деньги. «Невежа!», — проворчал кто-то за моей спиной; я слышал

но не подумал об этом, том, чтобы потребовать удовлетворения, я весь дрожал от непостижимого, болезненного нетерпения. Наконец, очередь дошла до меня, мои руки алчно ухватили синюю пачку банкнот. Я пересчитал их с трепетом и в то же время с восторгом. В пачке было шестьсот сорок крон.

Пылко рванул я их к себе. Моею следующей мыслью было: еще играть, выиграть больше, гораздо больше. Куда девалась моя программа? Ах, я ее выбросил от волнения! Я оглядывался по сторонам: как бы раздобыть другую? Тут я заметил с неизъяснимым испугом, что вдруг все вокруг меня растеклось в разные стороны, по направлению к выходам, что кассы закрывались и развевавшийся флажок опустился. Игра окончилась. Это был последний заезд. На мгновение я оторопел. Потом во мне вспыхнул гнев, словно я стал жертвою несправедливости. Я не мог примириться с тем, что теперь, когда все мои нервы напряглись и дрожали, когда кровь заструилась у меня в жилах впервые так горячо за многие годы, — что теперь всему должен наступить конец. Не бесполезно было питать обманчивым желанием надежду, что это была всего лишь ошибка, потому что все быстрее рассасывалась пестрая суতোлка и смятая трава уже поблескивала зелеными пятнами между одиночными замешкавшимися зрителями. Постепенно я начал сознавать комизм напряженного моего ожидания, а поэтому взял шляпу — палку я, повидимому, забыл от волнения в турникете — и пошел к выходу. Сторож, подобострастно сняв картуз, подскочил ко мне, я назвал ему номер моего фиакра, он крикнул его, сложив рупором руку, и экипаж подкатил под четкий топот копыт. Я велел кучеру медленно ехать по главной аллее. Ибо как раз теперь, когда возбуждение начало сладостно утихать, я испытывал

похотливую потребность еще раз воскресить в памяти всю эту сцену.

В этот миг подкатил другой экипаж; невольно я взглянул в ту сторону, чтобы тотчас же совершенно сознательно отвернуться. Это была та женщина со своим дородным супругом. Они меня не заметили. Но меня мгновенно охватило гадкое, удушливое чувство, я был пойман с поличным. И охотнее всего я крикнул бы кучеру, чтобы он погнался коней, только бы поскорее мне скрыться от них.

Фиакр мягко ускользал на резиновых шинах посреди других экипажей, которые, покачиваясь, уносились мимо зеленых берегов каштановой аллеи, как убранные цветами лодки, со своим пестрым грузом — женщинами в ярких туалетах. Воздух был мягкий и сладостный, сквозь него доносилось по временам легкое дуновение вечерней прохлады. Но прежнее блаженно-мечтательное состояние уже не возвращалось: встреча с обокраденным человеком привела меня в мучительное смятение. Словно струя холодного воздуха, прорвавшись сквозь щель, подула вдруг на мою разгоряченную страсть. Я теперь снова и совершенно трезво обдумал всю разыгравшуюся сцену и не понимал уже самого себя: я джентльмен, принятый в лучшем обществе, офицер запаса, пользующийся всеобщим уважением, без нужды присвоил найденные деньги, сунул их в бумажник, и вдобавок это доставило мне какую-то алчную радость, наслаждение, лишающее меня права на какое бы то ни было оправдание. Я, бывший еще за час до этого корректным, незапятнанным человеком, совершил кражу. Я был вором. И как бы для того, чтобы испугать самого себя, я вполголоса произнес сам над собою приговор: в то время как экипаж мягко катился, я говорил безотчетно, в такт стуку копыт: «Вор! Вор! Вор! Вор!».

Но странно... Как мне описать то, что произошло потом, это ведь так необъяснимо, так необычайно, и все же я знаю, что ничего не измышляю *post factum*. Каждая стадия моего чувства, каждое колебание моей мысли сохранились ведь у меня в сознании с такой сверхъестественной ясностью, как почти никакое другое впечатление за тридцать шесть лет моей жизни, и все же я с трудом решаюсь изложить этот нелепый ход явлений, эти озадачивающие колебания моей психики, да и сомневаюсь, нашелся ли бы такой писатель или психолог, который был бы в состоянии представить их в логическом виде. Я могу только записать этот ряд чувствований в строгом соответствии с тем, как они неожиданно одно за другим возникали.

Итак, я говорил себе: «Вор, вор, вор». Затем настало поразительное, как бы пустое мгновение, мгновение, когда не произошло ничего, когда я только — ах, как это трудно выразить — когда я только слушал, прислушивался к себе. Я вызвал себя в суд, предъявил себе обвинение, теперь подсудимый должен был представить свои объяснения суду. Я стал, говорю я, прислушиваться — и не услышал ничего. Это хлещущее слово «вор», которое должно было, как я ожидал, вспугнуть, меня, а потом низринуть в неслезанный, уничтожающий стыд, — слово это не вызвало ничего. Я терпеливо ждал несколько минут, прильнул потом еще ближе, так сказать, к самому себе, — потому что слишком ясно чувствовал, что под этим упрямым молчанием, что-то шевелилось, — и в лихорадочном ожидании старался услышать непрозвучавшее эхо, крик омерзения, разочарования, отчаяния, который должен был последовать за этим самообличением. И опять-таки не произошло ничего. Никакого отзвука. Еще раз повторил я себе слово «вор», «вор» — теперь уже совсем громко,

чтобы, наконец, пробудить в себе тугую на ухо, парализованную совесть. Опять не последовало ответа. И вдруг, — в ярком озарении сознания, как если бы спичка внезапно зажглась над темною ямой, — я постиг, что только хотел почувствовать стыд, но не стыдился, мало того, — что я в этой яме на какой-то таинственный лад был горд и даже счастлив своим безрассудным поступком.

Как могло это быть? Я отбивался, будучи теперь, действительно, испуган сам собою, от этого неожиданного открытия, но слишком сильно, слишком бурно поднималось во мне это чувство. Нет, не стыд это был, не возмущение, не гадливость к самому себе, то, что так знойно переливалось у меня в крови, — радость, пьяная радость вспыхивала во мне, искрилась острыми, светлыми огнями дерзновения, ибо я чувствовал, что в эти минуты, впервые после долгих лет, был действительно жив, что восприимчивость моя была только парализована, но еще не омертвела, что где-то под песчаною поверхностью моего равнодушия, стало быть, все-таки таинственно били еще горячие ключи страсти и теперь, когда случай прикоснулся к ним волшебным жезлом, высоко взметнулись до самого сердца. Значит, и во мне, и во мне, в этом осколке одухотворенной вселенной, еще дремало то раскаленное, таинственное, вулканическое ядро всего земного, которое иногда вырывается в вихревом порыве вождения, — значит, и я жил, был живым человеком, наделенным злостью и пылкою похотью. Какую-то дверь распахнула буря этой страсти, какую-то бездну во мне раскрыла, и я со сладостным головокружением вглядывался в то неведомое, что было во мне, что внушало мне одновременно страх и чувство блаженства. И медленно — между тем как экипаж спокойно уносил мое сонное тело сквозь буржуазный мир — я сходил, со ступени на ступень,

в свои человеческие глубины, невыразимо одинокий в этом безмолвном нисхождении, озаряемый только поднятым надо мною, ярким факелом моего внезапно загоревшегося сознания. И в то время как людские волны, смеясь и болтая, катились вокруг меня, я искал в душе своей самого себя, потерянного человека, перебирая в магически озарившейся памяти многие минувшие годы. Совершенно забытые происшествия глянули на меня из запыленных и потускневших зеркал моей жизни, я вспомнил, что уже однажды, будучи школьником, украл перочинный нож у товарища и с таким же дьявольским наслаждением следил, как он его искал повсюду, всех расспрашивал и выбивался из сил; я понял вдруг таинственные грозы многих сексуальных потрясений, понял, что страсть моя была только искажена, только затоптана общественным помешательством, деспотическим идеалом джентльмена, — но что и во мне, только глубоко, очень глубоко, в засыпанных колодцах и трубах, струятся потоки жизни, как и во всех других. О, я ведь жил всегда, но только не осмеливался жить, я замуровался и спрятался от самого себя; теперь же сжатая сила возмутилась, жизнь богатая, несказанно мощная жизнь одержала верх надо мною. И теперь я знал, что ею еще дорожу; в блаженной оторопи, как женщина, которая впервые ощущает в себе движение младенца, ощутил я в себе прорастание подлинного, — как назвать мне его иначе, — истинного, непритворного зерна жизни; я чувствовал — мне почти стыдно написать такое слово, — как я, увядший, вдруг опять расцветаю, как у меня по жилам тревожно и знойно струится кровь, тихо распускается в тепле восприимчивость и вырастает неведомый, полный сладости или горечи плод. Чудо Тангейзера произошло со мною посреди залитого светом скакового

плаца, посреди гудения праздной тысячеголовой толпы: я снова начал чувствовать; зазеленел и покрылся почками высохший посох.

Проезжавший мимо в коляске господин поклонился и обликнул меня — вероятно, я не заметил его первого поклона — по имени. Я встрепнулся, злобный, разгневанный тем, что пробужден от этого сладостного состояния, когда душа моя как бы изливалась в самое себя, от этого глубочайшего сна, когда-либо изведенного мною. Но взглянув на того, кто поклонился, я совершенно ошалел: это был мой друг Альфонс, милый школьный товарищ, а теперь прокурор. Сразу меня пронзила мысль: этот человек, дружески тебя приветствующий, теперь впервые властен над тобою; стоит ему узнать про твой поступок — и ты в его руках. Знай он о тебе и твоём деянии, он должен был бы вытащить тебя из этого фиакра, вырвать из всего этого мягкого буржуазного существования и столкнуть на несколько лет в мрачный, с решетчатыми окнами, скрытый мир отбросов жизни, других воров, которых только кнут нужды загнал в их грязные камеры. Но на одно лишь мгновение ухватил меня страх за дрожащую руку, только на миг приостановил сердцебиение во мне — потом и эта мысль превратилась в теплое чувство, в фантастическую, наглую гордость, под влиянием которой я теперь самоуверенно и почти насмешливо мерил взглядом других людей. Как застыла бы у вас в углах рта, — думал я, — ваша сладкая, приятельская улыбка, которой вы меня приветствуете, как человека своей среды, если бы вы догадались, кто я такой. Как брызнувшую грязь, стерли бы вы мой поклон гадливым движением руки. Но прежде чем вы меня отвергли, я уже вас отверг: сегодня днем я выбросился из вашего черствого, окосзеленого мира, где был бесшумно вертевшимся колесом

ком в большой машине, холодно движущей своими поршнями и суетно вращающейся вокруг собственной оси. Я низринулся в пропасть, глубины которой не знаю, но на протяжении этого единственного часа я в большей мере был живым человеком, чем в течение ряда стеклянных лет в вашем кругу. Не вам я больше принадлежу, не к вашей среде, теперь я нахожусь где-то снаружи, на вершине или на дне, но навсегда ушел с плоского побережья вашего мещанского благополучия. Я впервые почувствовал все, что есть в человеке вождеющего к добру и злу, но никогда вы не узнаете, где я был, никогда меня не постигнете: люди, что знаете вы о моей тайне?

Как мог бы я передать, что переживал в этот час, в то время как в образе щегольски одетого джентльмена, хладнокровно кланяясь и отвечая на поклоны, проезжал сквозь вереницы экипажей. Ведь между тем как моя личина, — внешний, прежний человек, — еще ощущала и узнавала лица, внутри во мне звучала такая оглушающая музыка, что мне надо было сдерживаться, чтобы не прокричать чего-нибудь из этого неистового гула. Я так был полон чувства, что этот внутренний прибой меня физически мучил, и я должен был, как задыхающийся, сильно прижимать руку к груди, под которою мучительно ныло сердце. Но боль, наслаждение, ужас, отчаяние или сожаление — ничего этого не ощущал я отдельно, и все сливалось воедино, я ощущал только, что живу, что дышу и чувствую. И это простейшее, это элементарное чувство, которого я не испытывал уже многие годы, опьяняло меня. Ни разу за все тридцать шесть лет моей жизни, хотя бы мимолетно, не вкушал я такого экстаза и полноты существования, как в этот час.

Экипаж, слабо дрогнув, остановился: сдержав лошадей, кучер повернулся на водах и спросил, ехать ли домой.

Я очнулся от забытья, взглянул на аллею; опешив, увидел, как долго я грезил, как далеко разлился во времени дурман. Стемнело. Вершины деревьев тихо шевелились, каштаны начинали струить в прохладу свой вечерний аромат. И над ними уже серебрился затуманенный взгляд луны. О, только бы не домой теперь, не в обычный мой мир! Я расплатился с кучером. Когда я достал бумажник и взял в руку кредитные билеты, то словно слабый электрический ток пробежал у меня от локтя в кончики пальцев; стало быть, что-то еще было живо во мне от старого человека, которому было стыдно. Еще подергивалась умирающая совесть джентльмена, но рука моя уже принялась перебирать украденные деньги, и я, в радости своей, был щедр. Кучер так преувеличенно стал меня благодарить, что я невольно усмехнулся: если бы ты знал! Лошади тронулись, фиакр удался. Я смотрел ему вслед, как с корабля путешественник озирается в последний раз на берег, где был счастлив.

Некоторое время я стоял в нерешительности посреди говорливой, смешливой, заливаемой звуками музыки толпы; это было, вероятно, в семь часов вечера, и я машинально повернул в сторону Захера, где обычно ужинал всегда со знакомыми, после прогулок по Пратеру, и где кучер намеренно остановил лошадей. Но не успел я притронуться к двери элегантного садового ресторана, как что-то меня затормозило: нет, я еще не хотел возвращаться в свой мир, к небрежным разговорам, которые могли бы приостановить это дивное, таинственно меня наполнявшее брожение, не хотел освобождаться из-под искрящихся чар этого приключения, под властью которых чувствовал себя в течение последних часов.

Откуда-то глухо донеслась неясная музыка, и я невольно двинулся по направлению к ней, потому что все

манило меня сегодня, для меня было наслаждением всецело предаваться на волю случая, и в бесцельном блуждании посреди этой мягкими волнами переливавшейся толпы людей заключалась для меня какая-то фантастическая прелесть. Кровь моя бродила в этом густом, горячем, вскипающем человеческом месиве: я был взвинчен, возбужден, напряжен этим едким и дымным запахом человеческого дыхания, пыли, пота и табака. Ибо все то, что прежде, еще вчера, отталкивало меня вульгарностью, пошлостью, плебейским характером, чего всю жизнь презрительно избегал живший во мне утонченный джентльмен, все это магически привлекало к себе мой новый инстинкт, как если бы я впервые ощущал сходство с собою самим в животном, в инстинктивном и грубом. Тут, среди городских подонков, среди солдат, проституток, бродяг, я чувствовал себя хорошо на какой-то особый, совершенно мне непонятный лад; я с какою-то жадностью вдыхал едкость этой атмосферы, толкотня и давка в сгрудившейся толпе были мне приятны, и я со сладострастным любопытством старался угадать, куда понесет меня, безвольного, этот час. Все ближе раздавались из Вурстль-пратера звуки дудок и гармоник, с фанатической монотонностью наигрывали шарманки свои грохочущие польки и вальсы, из балаганов доносился глухой треск, слышался смех, звучали пьяные выкрики, а вот между деревьями замелькала своими сумасшедшими огнями с детства мне знакомая карусель. Я остановился посреди площади, предоставляя всему этому шуму заливать меня, наполнять мне уши и глаза: эти каскады грохота, адская свистопляска были приятны мне, потому что в этом водовороте заключалось нечто, заглушавшее мою внутреннюю бурю. Я смотрел, как служанки, в раздувающихся платьях, взлетали в воздух на мимантских шагах, испуская пронзительно-

радостные, чувственные крики; как молодые мясники со смехом ударили тяжелыми молотами по силомерам; как зазыватели, с обезьяньими ужимками, покрывали хриплыми своими криками рев шарманок и как все это кипуче перемешивалось с тысячеголосою, неустанно колыхающейся жизнью толпы, пьяной от сивухи, духовой музыки, от мелькания огней и от знойного наслаждения тесноты. С тех пор как я сам проснулся, я вдруг ощутил жизнь других людей, ощутил чувственность столичного города, которая изливалась горячо и густо, возбуждаясь от собственной полноты до степени глухого, животного, но в каком-то смысле здорового и плодотворного возбуждения. И постепенно, от давки, от непрестанного соприкосновения с их горячими, страстно напиравшими на меня телами, мне начала сообщаться их жаркая похоть; нервы у меня напрягались, пришпоренные острыми запахами, сознание опьяненно играло с гулом толпы, испытывая то оупение, которое неизбежно связано с каждым сильным порывом сладострастья. Впервые за много лет, быть может, за всю жизнь, ощутил я массу, ощутил людей, как силу, которая сообщала жизнерадостность моему собственному, индивидуальному существованию, какая-то плотина рушилась, и что-то струилось из жил моих в этот мир ритмически текло обратно, и совсем новый порыв охватил меня: расплавить еще эту последнюю кору, отделяющую меня от них, — страстная тяга к соединению с этим горячим, чужим, теснящимся человечеством. С вождением мужчины влекся я к лону этого разгоряченного, гигантского тела, с вождением женщины открыт был для любого прикосновения, любого зова, любых объятий — и теперь, я знал: любовь была во мне и потребность в любви, какую я испытывал только в сумеречные отроческие дни. О, только бы ринуться туда, в живую

плоть толпы, каким-то образом слиться с этой вздрагивающей, смеющейся, переводящей дыхание страстностью других людей, только бы влиться, излиться в ее кровеносную систему; стать совсем ничтожным, совсем безмянным в этой сутолоке, быть всего лишь инфузорией в мировой грязи, дрожащим от наслаждения, искрящимся существом в роящихся мириадах, — но только войти в эту полноту, упасть в водоворот, сорваться, как стрела с тетивы собственного напряжения, в неведомое, в какое-то небо сплоченности.

Теперь я знаю: я был тогда пьян. В крови моей все клокотало, перемешавшись: звон колокольчиков на карусели, пронзительное взвизгивание женщин, которых хватали мужские руки, хаотическая музыка, шуршание платья. Остро западал в меня каждый отдельный звук и потом еще мелькал в висках красной дрожащею полоскою, я ощущал каждое прикосновение, каждый взгляд фантастически возбужденными нервами (как при морской болезни), но и все вместе — в какой-то бредовой связности. Мне невозможно изобразить словами мое сложное состояние, вернее всего это удастся, пожалуй, посредством примера, если я скажу, что был переполнен шумом, гамом, ощущениями, как машина, бешено работающая всеми колесами, чтобы избежать непомерного давления, которое уже в следующий миг должно взорвать ее котел. В кончиках пальцев дрожала, в виски стучала, горло сжимала, голову стискивала кипящая кровь — из состояния многолетней вялости я сразу свергнут был в лихорадку, в которой сгорал. Я чувствовал, что должен теперь распахнуть себя, выскочить из собственной кожи посредством какого-нибудь слова, взгляда, сообщиться, излиться, отдаться, предаться, сделать себя общим, раствориться, — как-нибудь спасти себя из этой твердой коры молчания, которая меня отде-

ляла от теплой, текучей, живой стихии. Много часов я не говорил, ничьей руки не сжимал, ничьих вопрошающих и участливых взглядов, обращенных на меня, не ощущал, и теперь, под давлением событий, это волнение мое восставало против молчания. Никогда еще, никогда не испытывал я такой потребности в общении, в общении с человеком, как теперь, когда меня несли волны многотысячной толпы, окатывая меня ее теплом и речами и все же отделяя от ее кровообращения. Я был подобен человеку, умирающему в море от жажды. И при этом я видел,— и каждый взгляд усиливал мою пытку,— как справа и слева в каждый миг завязывались узлы, и шарики ртути, как бы играя, сливались. Зависть охватывала меня при виде того, как молодые парни мимоходом заговаривали с незнакомыми девушками и уже вслед за первыми словами брали их под руки; как все приходило в согласие и сближалось: достаточно им было поздороваться перед каруселью или обменяться взглядами, и разнородные элементы сливались в разговор, быть может, для того, чтобы через несколько минут опять разъединиться, но все же это было связью, соединением, сопричастием, было тем, по чему теперь томились мои нервы. Я же, искушенный в салонных беседах, уверенный в себе, прославленный causeur, — я изнывал от страха, я стыдился заговорить с какою-либо из этих широкобедрых служанок, боясь показаться смешным; мало того — я опускал глаза, когда кто-нибудь случайно смотрел на меня, а душа изнывала в тоске по словам. Мне ведь и самому неясно было, чего я хочу от людей, но только для меня сделалось невыносимым быть в одиночестве и сгорать от своей лихорадки. Но все взоры скользили мимо меня, ни один не желал на мне остановиться. Один раз ко мне приблизился двенадцатилетний мальчуган, оборвыш; глаза у него были

ярко озарены отражением огней, с таким томлением уставился он на кружившихся деревянных лошадок. Узкий рот его был открыт, словно от жажды; очевидно, у него больше не было денег, чтобы кататься, и он мог только впивать наслаждение из чужого смеха и визга. Я к нему протолкался и спросил его — но почему — при этом так дрожал у меня голос и срывался на такой пронзительный тон?

— Не хотелось ли бы вам разок прокатиться?

Он выпучил глаза, испугался — почему, почему? — покраснел, как рак, и убежал, не сказав ни слова. Даже босоногий ребенок — и тот не хотел быть мне обязанным радостью: во мне, должно быть — так чувствовал я — было нечто ужасающе чуждое всему, если я не мог ни с кем сойтись и оторванно плыл в густой массе, как масляная капля на струящейся воде.

Но я не уступал: я больше не мог быть один. Запыленные лакированные ботинки обжигали мне ноги, в горле першило от угара. Я оглянулся по сторонам: справа и слева, между протекавшими человеческими улицами, лежали зеленые островки, садовые трактиры с красными скатертями и некрашеными деревянными скамьями, на которых сидели за кружками пива, покуривая свои воскресные сигары, мелкие мещане. Эта картина прельстила меня: там сидели рядом чужие друг другу люди, вступали в беседу друг с другом. Там можно было немного передохнуть от дикой лихорадки. Я вошел, стал осматривать столы, пока не нашел одного, за которым сидело мещанское семейство — толстый, коренастый ремесленник с женою, двумя веселыми девочками и маленьким мальчиком. Они покачивали в такт головами, обменивались шутками, и от их удовлетворенных, жизнерадостных лиц на меня пахло уютom. Я вежливо поклонился, притронулся

к свободному стулу и спросил, могу ли к ним присесть. Смех у них сразу оборвался, на миг они приумолкли (словно каждый ждал, чтобы другой изъясил согласие), потом жена, точно опешив, произнесла:

— Подзальуста, пожалуйста!

Я сел и сразу же почувствовал, что нарушил своим присутствием их неприступное настроение, потому что за столом тотчас же возникло жуткое молчание. Не решаясь отвести глаза от красной клетчатой скатерти, на которой неряшливо рассыпаны были соль и перец, я все же ощущал, что они за мной озадаченно следят, и тут же мне пришло в голову, — слишком поздно, — что я был слишком элегантен для этого просто народного трактира, в своем жакете, парижском цилиндре и с жемчужиной в лиловато-сером галстуке; что мое изящество и аромат роскоши тотчас же и тут создавали вокруг меня слой враждебности и смущения. И это безмолвие пяти человек пригнетало меня все ниже к столу, красные клетки которого я не переставал с затаенным отчаянием пересчитывать на-ново, пригвожденный к месту сознанием, что стыдно будет вдруг уйти, и вместе с тем чересчур малодушный, чтобы поднять на соседей глаза. Облегченно вздохнул я, когда, наконец, появился кельнер и поставил передо мною тяжелую кружку с пивом. Тогда я смог, наконец, шевельнуть рукою и, делая глотки, поверх кружки скосить на них глаза. И в самом деле, все пятеро наблюдали за мною, без ненависти, правда, но все же с немым изумлением. Они узнали во мне человека, вторгшегося в их тусклый мир, почувствовали своим наивным классовым инстинктом, что я здесь хотел, искал чего-то чуждого моему миру, что не любовь, не симпатия, не простодушная тяга к вальсу, к пиву, к уютному воскресному времяпрепровождению привели меня сюда, а какое-то вожде-

ние, которого они не понимали и которому не доверяли, так же, как мальчик подле карусели отказал в доверии моему подарку, как тысячи безвестных созданий, толкавшихся там, с безотчетною враждебностью избегали моего изящества, моей светскости. И все же я чувствовал: если бы у меня нашлось для обращения к ним простое, безобидное, сердечное, поистине человеческое слово, то мне ответили бы отец или мать, дочери польщенно улыбнулись бы мне, я мог бы с мальчиком пойти стрелять в соседний тир и поребачиться с ним. В какие-нибудь пять, десять минут я был бы освобожден от самого себя, окутан бесхитростной атмосферой обывательской беседы, охотно оказываемого и даже польщенного доверия— но этого простого слова, этого первого повода для беседы я не находил; ложный, глухой, но непреодолимый стыд сжимал мне горло, и я сидел, опустив глаза, как преступник, за столом этих простолюдинов, терзаясь мыслью, что отравил им последний час праздничного дня своим коварным присутствием. И во время этого пригвожденного сидения, я искупал все те годы равнодушного высокомерия, на протяжении которых проходил пренебрежительно мимо десятков тысяч таких столов, мимо миллионов братьевлюдей, будучи занят только погоней за благоволением и успехом в узкой сфере эlegantности; и я чувствовал, что теперь, когда в час моей отверженности я нуждался в них, прямой к ним путь, возможность непринужденного с ними общения отрезаны для меня изнутри.

Так сидел я, дотоле свободный человек, в томительном угнетении, все на-ново пересчитывая красные квадраты на скатерти, пока, наконец, опять не появился кельнер. Я подозвал его, расплатился, встал, оставил кружку почти полною, вежливо поклонился. Мне ответили приветливыми, удивленными поклонами: я знал, не огля-

дываясь, что теперь, чуть только я повернулся к ним спиною, к ним вернутся жизнерадостность и веселье, что круг задушевной беседы замкнется, коль скоро исторгнуто чужеродное тело.

Снова я кинулся, но только с еще большею жадностью, горячностью и отчаянием, в людской водоворот. Толкотня тем временем разредилась под деревьями, которые черными силуэтами поднимались в небо, и ярко освещенный круг карусели не так уже густо кишел людьми; движение шло в обратную сторону, к периферии площади. Кипящий, глубокий, как бы дышащий гул толпы дробился теперь на многие мелкие шумы, сразу обрывавшиеся, всякий раз как с какой-нибудь стороны опять начинала грохотать свирепая музыка, словно стараясь удержать бегущих. Другого рода фигуры выплыли теперь на поверхность: дети со своими воздушными шарами и бумажными змеями пошли уже домой, разъезжались также после воскресного гуляния семьи. Теперь стали попадаться крикливые пьяные; из боковых аллей развинченной и все же крадущейся походкою начали выходить оборванцы: за тот час, который я провел, пригвожденный, у чужого стола, этот странный мир приобрел более порочный характер. Но именно эта фосфоресцирующая атмосфера наглости и опасности почему-то была мне больше по душе чем прежняя, празднично-мещанская. Возбужденный инстинкт чуял в ней то же похотливое напряжение. В этих шляющихся, подозрительных фигурах, в этих отбросах общества я ощущал себя отраженным под каким-то углом: ведь и они здесь беспокойно ожидали какого-то мерцающего приключения, быстрого возбуждения, и даже им, этим проходимцам, завидовал я, глядя на их свободное, развязное блуждание, потому что сам стоял, прислонившись к одному из столбов карусели, стараясь исторгнуть из

себя гнет молчания, пытку своего одиночества, и будучи все же неспособен ни на одно движение, ни на один возглас. Я только стоял и пялил глаза на площадку, освещенную мигающим отражением огней, стоял и устремлял глаза во мрак со своего островка света, с глупым ожиданием глядя на каждого человека, который на мгновение поворачивался в мою сторону, привлеченный яркими лучами. Но все взоры холодно скользнули мимо меня. Никто не хотел меня, никто не освобождал меня.

Я знаю, безумцом было бы думать, будто можно кому-нибудь описать, а объяснить — и подавно, как я, культурный, изящный, светский человек, богатый, независимый, связанный дружбою с самыми выдающимися жителями столичного города, мог ночью целый час простоять у столба надтреснуто визжавшей, неустанно вертевшейся карусели, пропуская мимо себя двадцать, сорок, сто раз одни и те же идиотские лошадиные морды из крашеного дерева, под звуки одних и тех же спотыкавшихся полек и ползучих вальсов, и не трогаться с места с затаенным упрямством, с таинственной решимостью подчинить судьбу своей воле. Я знаю, что действовал сумасбродно в этот час, но в этом сумасбродном столбняке был такой напор чувства, такое стальное напряжение всех мышц, какое испытывают обычно люди разве что только при падении в пропасть непосредственно перед смертью; вся моя пусто промчавшаяся жизнь вдруг хлынула обратно и залила меня до горла. И насколько я терзался своим бессмысленным, сумасбродным решением оставаться, не трогаться с места, пока меня не освободит какой-нибудь взгляд, какое-нибудь человеческое слово, настолько же я наслаждался своим терзанием. Что-то я искупал этим стоянием у столба, не столько эту кражу, сколько тупость, вялость, пустоту своей прежней жизни: и я поклялся себе уйти, не

раньше чем какой-нибудь знак не будет мне дан, чем рок не отпустит меня.

Тем временем ночь наделилась. Одни за другими гасли огни в балаганах, и всякий раз тогда выдвигался мрак, проглатывая на траве пятно света: все уединеннее становился светлый островок, на котором я стоял, и я с трепетом взглянул на часы. Еще четверть часа — и размалеванные деревянные кони останавятся, красные и зеленые лампы накаливания погаснут у них на глухих лбах, умолкнет гудящий орган. Тогда я буду весь поглощен мраком, буду стоять совсем один в тихо шелестящей ночи, буду совсем отвержен, совсем покинут. Все тревожнее поглядывал я на темную площадь, по которой теперь уже только изредка пробегала какая-нибудь чета или, шатаясь, проходило несколько пьяных парней. Но в конце площади, наискосок, еще трепетала прячущаяся жизнь, беспокойно и раздражающе. По временам раздавался тихий свист или щелкашь, когда проходили несколько мужчин. И когда они сворачивали в мрак, привлеченные зовом, — то отсюда слышались шепчущие, звонкие женские голоса, и по временам ветер доносил обрывки громкого смеха. И постепенно фигуры начали выступать наглее из мрака в освещенную часть площади, чтобы тотчас же нырнуть опять во тьму, чуть только в лучах фонаря мелькала остроконечная каска полицейского. Но едва лишь он удалялся, соершая обход, как призрачные тени появлялись опять, и мне уже были теперь отчетливо видны их очертания, так близко решались они подходить к свету, — последняя тина этого ночного мира, накипь, оставленная пронесшимся людским потоком: несколько проституток, из числа самых убогих и отверженных, у которых нет своей постели, которые днем спят на тюфяке, а по ночам неустанно бродят, за мелкую серебряную монету отдавая

любому где-то здесь, в темноте, свои истасканные, опозоренные, тощие тела, — выслеживаемые полицией, толкаемые голодом или каким-нибудь проходимцем, подстерегающие добычу и подстерегаемые сами. Как голодные собаки, выползали они постепенно на свет в поисках какого-нибудь запоздалого прохожего, чтобы выманить у него одну или две кроны, купить себе на эти деньги вина в кабаке и поддержать тускло мерцавший огарок жизни, которому и так уже вскоре предстояло догореть в больнице или тюрьме.

Это были подонки, последняя жижа чувственности, высоко вскипевшей в праздничной толпе — с беспредельным омерзением смотрел я на эти голодные фигуры, выходившие из мглы. Но и в этом омерзении была какая-то волшебная услада, оттого что даже из этого грязнейшего зеркала снова глянуло на меня забытое и смутно пережитое: это была глубокая трясина, через которую я прошел давно, много лет тому назад, и которая ныне опять замскрилась у меня в сознании фосфоресцирующим светом. Странно — чего только не открывала мне эта фантастическая ночь! Так глубоко разоблачила она мою замкнутую душу, что наружу вышли самые темные стороны в моем прошлом, самые сокровенные мои порывы! Смутное чувство всплыло из засыпанных глубин моих отроческих лет, когда на таких фигурах останавливался робкий, любопытством привлеченный и все же малодушно растерянный взгляд, — воспоминание о том часе, когда по шаткой, мокрой лестнице я в первый раз взобрался к такому созданию — и вдруг, как будто молния разверзла ночное небо, я увидел четко каждую подробность этого забытого часа, плоскую олеографию над постелью, амулет, который она носила на шее, ощущал всеми фибрами то, что было тогда, смутную духоту, отвращение и первую

мальчишескую гордость. Все это сразу прокатилось у меня по телу. Беспредельное ясновидение вдруг осенило меня и — как мне это передать, это бесконечное? — я внезапно понял все, что вызывало во мне такую жгучую жалость и связывало меня с этими существами, как раз потому, что они были последним шлаком жизни, и мой разожженный преступлением инстинкт постигал это голодное блуждание, столь сходное с моим в эту фантастическую ночь, эту порочную открытость всякому прикосновению, всякой чужой, случайно встретившейся похоти. Меня повлекло туда словно магнитом, бумажник с украденными деньгами вдруг жарко запылал у меня на груди, когда я почувствовал, наконец, присутствие существ, людей, нечто мягкое, дышащее, говорящее, желавшее чего-то от других существ, быть может, и от меня, от того, кто только и ждал возможности отдать себя, кто сгорал от неистовой тяги к людям. И сразу я понял то, что влечет мужчин к таким созданиям, понял, что это редко бывает всего лишь кипением крови, жгучим зудом, а чаще всего — только боязнью одиночества, чудовищной раз'единенностью, обычно громоздящейся между нами и впервые уяснившейся сегодня моему воспаленному сознанию. Я вспомнил, когда в последний раз смутно испытал такое же чувство: в Англии это было, в Манчестере, в одном из тех стальных городов, которые гудят под тусклым небом, как подземная железная дорога, и в то же время обдают человека стужей одиночества, проникающей в поры тела до самой крови. Три недели прожил я там у родственников, по вечерам бродя всегда один по барам и клубам и каждый раз заходя в сверкающий мюзик-холл, только чтобы ощутить немного человеческого тепла. И там я встретился как-то вечером с таким же созданием, чей уличный жаргон был мне почти непонятен, но вдруг очутился в какой-то

компате, был смех из незнакомых уст, теплое тело было рядом с моим, по-земному близкое и мягкое. Внезапно растаял холодный, черный город, мрачная, гудящая область одиночества; какое-то существо, которого я не знал, которое стояло тут и поджидало всякого, кто приходил, растворяло меня; снова легко дышалось, в легкой ясности ощущалась жизнь посреди стальной тюрьмы. Для одиноких, для замкнутых в самих себя, какою было услугою сознавать, чувствовать, что для их страха все же есть всегда прибежище, возможность крепко за него уцепиться, пусть бы даже оно было захватано многими руками, изъедено ядовитой ржавчиной. И это, как раз это забыл я в убийственном своем одиночестве, из которого, пошатываясь, выкарабкивался в эту ночь, — что где-то, на последнем углу, всегда еще ждут эти последние создания, готовые принять всех отдающихся, дать отдохнуть в своем дыхании всем покинутым, охладить всякий жар, за жалкую плату, слишком ничтожную по сравнению с тем невероятным благом, каким является их вечная готовность, великий подарок их человеческого присутствия.

Подле меня опять загремел орган карусели. Это был последний тур; последнею фанфарой огласил темноту кружащийся свет, возвещая переход воскресенья в тусклые будни. Но не было уже никого, лошади без наездников мчались в безумном своем круговращении, переутомленная кассирша уже собирала и пересчитывала дневную выручку, и мальчик подошел с крюком, собираясь после этого последнего тура спустить ставни над балаганом. Только я, один я все еще там стоял; прислонившись к столбу, и смотрел на пустынную площадь, где мелькали, как летучие мыши, только эти фигуры, идущие, как я, поджидающие, как я, и все же отделенные от меня непроницаемым пространством разъединенности. Но теперь одна из них,

повидимому, заметила меня, потому что медленно подо-  
двинулась. Совсем близко видел я ее из-под полуопущен-  
ных век: маленькое, кривое, рахитическое создание, без  
пяды, в безвкусном нарядном платье, из-под которого  
выглядывали стоптанные балльные туфли. Все это было,  
вероятно, куплено по частям у старьевщика и с тех пор  
вылиняло, смялось под дождем или при каком-нибудь  
грязном походе в траве. Она подкралась ближе,  
остановилась передо мною, бросая на меня острый, как  
крючок на удочке, взгляд и в заманивающей улыбке при-  
открыв гнилые зубы. У меня замерло дыхание. Я не мог  
шевелинуться, не мог смотреть на нее и все же не мог  
вырваться: как в гипнозе ощущал, что вокруг меня алчно  
бродит человек, что кому-то я нужен, что наконец-то я  
могу отшвырнуть от себя одним словом, одним только  
жестом это мерзкое одиночество, эту мучительную отвер-  
женность. Но я не был в состоянии шевельнуться, деревян-  
ный, как балка, к которой я прислонился, и в каком-то сладо-  
страстном обмороке чувствовал только все время — между  
тем как музыка карусели утомленно замерла—это близкое  
присутствие, эту волю, домогавшуюся меня, и я на мгно-  
вение закрыл глаза, чтобы во всей полноте ощутить, как  
меня заливают это магнитное, исходящее от чего-то чело-  
веческого, из мирового мрака исходящее притяжение.

Карусель остановилась, вальсирующая мелодия оборва-  
лась на последнем, стонущем звуке. Я открыл глаза  
и успел еще заметить, как фигура, стоявшая подле меня,  
отвернулась. Ей, повидимому, надоело чего-то ждать от  
деряванного истукана. Я испугался. Мне стало вдруг  
очень холодно. Отчего дал я ей уйти, единственному  
человеку в этой фантастической ночи, пошедшему ко мне  
навстречу? Позади угасали огни, с потрескиванием  
опускались ставни. Конеч.

И вдруг,—ах, как изобразить самому себе эту горячую, эту внезапно вскипевшую пену? — вдруг — это исторглось так внезапно, так горячо, так багрово, как если бы у меня разорвалась артерия в груди,—вдруг из меня, гордого, высокомерного, совершенно закосневшего в холодном, светском достоинстве человека, вырвалось, как немая молитва, как судорога, как крик, ребячливое и все же столь для меня чудовищное желание, чтобы эта жалкая, грязная, рахитическая проститутка еще хоть раз на меня оглянулась и дала мне возможность с нею заговорить. Ибо не гордость мешала мне пойти за нею, — гордость моя была раздавлена, растоптана, смыта совсем новыми чувствами, — но слабость и беспомощность. И в таком состоянии стоял я там, в трепете и смятении, один, у позорного столба темноты, ожидая, как не ожидал никогда, с отроческих лет, как только один раз вечером стоял у окна, когда одна чужая женщина начала медленно раздеваться и все медлила и задерживала, в неведении, свое обнажение, — я стоял, вызывая к богу каким-то мне самому неизвестным голосом о чуде, о том, чтобы эта искалеченная тварь, эта жалчайшая человеческая падаля еще раз повторила свою попытку, еще раз обратила в мою сторону взгляд.

И — она обернулась. Еще один раз, совершенно машинально, оглянулась она на меня. Но в глазах у меня, повидимому, так сильно вспыхнуло мое напряженное чувство, что она остановилась, наблюдая за мною. Она еще больше повернулась ко мне, поглядела на меня сквозь мрак и приглашающе кивнула головой в сторону погруженного в темноту края площади. И, наконец, я почувствовал, как ужасное оцепенение начало меня покидать. Я снова мог шевелиться и утвердительно кивнул головой.

Незримый договор был заключен. Она пошла вперед по темной площади, от времени до времени оглядываясь, иду ли я за ней. И я шел за нею: свинец у меня свалился с ног, я мог ими двигать опять. Непреодолимо влекло меня за нею. Я шел не сознательно, а как бы плыл за нею следом, на буксире у таинственной силы. Во мраке аллеи, между балаганами, она замедлила шаги. Теперь она стояла подле меня.

Несколько секунд она ко мне присматривалась, испытующе и недоверчиво: что-то внушало ей неуверенность. Очевидно, мое странно робкое поведение, контраст между моею элегантною и местом действия были ей чем-то подозрительны. Она несколько раз озиралась по сторонам, колеблясь. Потом сказала, указывая вглубь аллеи, где было темно, как в шахте:

— Пойдем туда. За цирком совсем темно.

Я не мог ответить. Невыразимая глупость этого сближения ошеломила меня. Охотнее всего, я вырвался бы как-нибудь, откупился бы моветою или какою-нибудь отговоркой, но моя воля уже не имела власти надо мною. Чувство у меня было такое, какое испытываешь, когда мчишься в санях по отвесному снежному скату, когда смертельный страх как-то сладострастно сочетается с опьянением от быстроты, и когда, вместо того, чтобы тормозить, отдаешься падению с хмельным и в то же время сознательным безволием. Я уже не мог повернуть обратно и, быть может, совсем и не хотел повернуть, и когда она теперь доверчиво прильнула ко мне, я невольно взял ее под руку. Это была совсем худая рука не столько женщины, сколько отсталого, скрофулезного ребенка, и едва лишь я прощупал ее сквозь тонкое пальто, как меня охватила чрезвычайно мягкая, струящаяся жалость к этому несчастному комочку жизни, который

бросила мне под ноги эта ночь. И невольно пальцы мои приласкали эти слабые, болезненные кости, так целомудренно, так благоговейно, как я не прикасался к женщине еще никогда.

Мы пересекли тускло озаренную аллею и вошли в небольшую чащу, где вершины густолиственных деревьев не давали выхода душной, дурно-пахнувшей мгле. В этот миг я заметил, хотя теперь уже с трудом различимы были очертания предметов, что она, держась за мою руку, очень осторожно оглянулась, и несколькими шагами дальше — еще раз. И странно: между тем как я в каком-то оцепенении соскальзывал в пропасть, сознание мое все же было страшно бдительно и сверкающе. С ясно-видением, от которого ничто не скрывается, которое постигает каждое движение, я заметил, что сзади, вдоль края дороги, нечто скользит за нами следом, и мне как будто слышались крадущиеся шаги. И внезапно, — как если бы молния белою вспышкой озарила долину, — я угадал, я понял все: что меня тут заманивают в западню, что сутенеры этой женщины крадутся за нами и что она вела меня, в темноте, в какое-то условленное место, где мне предстояло стать их добычей. Со сверхъестественной ясностью, какую обладают только зажатые между жизнью и смертью мгновения, я видел все, взвешивал все возможности. Было еще время спастись, главная аллея должна была находиться неподалеку, потому что до меня доносился шум пробегавшего по ней электрического трамвая; крикнув или свистнув, я мог бы привлечь сюда людей: в остро очерченных образах возникали в мозгу все возможности бегства, спасения.

Но странно — это устрашающее постижение не охладило, а еще больше разгорячило меня. Ныне, в трезвую минуту, при ясном свете осеннего дня, я не в силах

и сам себе как следует объяснить нелепость моего поведения: я понял, понял сразу всеми фибрами своего существа, что я бесцельно подвергаю себя опасности, но это предчувствие, как разжиженное безумие, струилось у меня по нервам. Я предвидел нечто мерзкое, может быть — грозящее смертью, я дрожал от гадливости при мысли, что меня здесь толкают в какое-то преступление, в подлое, грязное приключение, но при том опьянении жизнью, какое я испытывал тогда впервые, возможности которого никогда не предполагал, самая смерть — и та представлялась мне предметом мрачного любопытства. Какое-то чувство — стыдно ли мне было обнаружить трусость, или это слабость была? — толкало меня вперед. Меня прельщала возможность спуститься в последнюю клоаку жизни, за один день проиграть и промотать все свое прошлое; дерзновенная похоть духа примешивалась к низменной похоти этого приключения. И хотя я всеми своими нервами предчувствовал опасность, ясно постигал ее своими чувствами, своим рассудком, я все же углублялся в чащу, под руку с этой грязной проституткой, которая меня физически отталкивала, сильнее чем привлекала, и которая, заведомо для меня, относилась ко мне только как к добыче для своих сообщников. Но я не мог отступить. Инерция преступности, днем сообщившаяся мне на ипподроме, влекла меня все глубже и глубже вниз. И я только сильнее ощущал вихревой, ошеломляющий дурман падения в новые бездны и, быть может, в последнюю: в смерть.

Пройдя еще несколько шагов, она остановилась. Опять ее взгляд неуверенно заскользил вокруг. Потом она взглянула на меня выжидательно:

— А что ты мне подарить?

Ах, вот что! Об этом я забыл. Но этот вопрос не протрезвил меня. Напротив. Я ведь так рад был воз-

возможности дарить, отдавать, расточать себя. Я порывисто опустил руку в карман, высыпал ей на открытую ладонь все серебро и несколько смятых кредиток. И тут случилось нечто до того поразительное, что еще и теперь у меня кровь бежит теплее в жилах, когда я думаю об этом: было ли это жалкое создание озадачено размером платы,—обычно она за грязную службу свою получала только гроши,—или было нечто непривычное, нечто новое в том, как радостно, быстро, почти очастливленно подарил я ей эти деньги,—но только она поддалась назад, и сквозь густую, дурно пахнущую мглу я почувствовал, как ее взгляд с крайним изумлением искал моего. И я испытал, наконец, то, чего мне так долго в этот вечер не доставало: кто-то искал меня, впервые я жил для кого-то в этом мире. И что ко мне потянулось как раз это отверженное существо, носившее, как товар, даже не глядя на покупателей сквозь мрак, свое несчастное, захваченное тело, что она подняла свои глаза на меня и во мне искала человека,—это усилило только мое поразительное опьянение, одновременно ясновидящее и бредовое, постигающее и растворенное в странном оупении. И ко мне уже прижало это чуждое мне создание, но не ради исполнения оплаченной обязанности; мне почудилась в этом движении какая-то безотчетная признательность, женственная воля к сближению. Я осторожно взял ее руку, худую, рахитическую руку, ощутил ее маленькое, искалеченное тело и вдруг, поверх всего этого, увидел всю ее жизнь: нанятый, грязный угол в предместьи, где она с утра до полудня спала среди кишевших вокруг нее чужих детей, ее сутенера, душившего ее, пьяных, которые в темноте, рыгая, бросались на нее, отделение больницы, куда ее приводили, аудиторию клиники, где ее поношенное, голое, больное тело показывали наглым, молодым студентам, как

учебное пособие, и потом — конец в какой-нибудь богадельне, куда ее выгрузят из полицейской кареты и оставят, как собаку, околевать. Бесконечная жалость к ней совсем овладела мною, нечто теплое, что было нежностью, но не было чувственностью. Я не переставал гладить ее по худой, тонкой руке. И потом наклонился над нею и поцеловал ее.

В этот миг за моей спиной раздался шорох, треск ветвей. Я отскочил. И вот уже послышался грубый, раскатистый смех мужчины:

— Так и есть! Так я и думал!

Прежде еще чем я увидел их, я знал, кто они такие. Посреди своего глухого опьянения я ни на миг не забывал, что меня выслеживают, больше того — мое таинственное, бодрствующее любопытство поджидало их. Теперь из кустов выдвинулась человеческая фигура, а за нею — вторая: опустившиеся парни, с наглыми повадками. Опять послышался грубый смех.

— Экая гадость, заниматься тут свинством! А еще благородный господин! Но теперь мы с ним разделаемся!

Я стоял неподвижно. Кровь у меня стучала в висках. Я не испытывал страха. Я только ждал: что произойдет? Теперь я был, наконец, на дне, на самом дне низости. Теперь должна была наступить катастрофа, взрыв, конец, которому я полусознательно шел навстречу.

Женщина от меня отпрянула, но не к ним. Она как бы стояла между нами: повидимому, подготовленное нападение было ей все же не совсем приятно. Парни же были раздосадованы моею неподвижностью. Они переглядывались, очевидно, ждали с моей стороны возражения, просьбы, испуга.

— Вот как, он молчит! — крикнул, наконец, один из них угрожающим тоном. А другой подошел ко мне и сказал повелительно:

— Идем в комиссариат!

Я все еще ничего не отвечал. Тогда первый положил мне руку на плечо и легко толкнул меня вперед.

— Марш! — сказал он.

Я пошел. Я не сопротивлялся, потому что не хотел сопротивляться: невероятная, низменная, опасная сторона положения ошеломила меня. Голова у меня оставалась совершенно ясною; я знал, что парни эти должны были, больше чем я, бояться полиции, что я мог откупиться несколькими кронами, — но я хотел испытать до дна чашу мерзости, я вкушал гнусную унижительность положения в каком-то сознательном бреду. Не спеша, совсем машинально пошел я в направлении, в каком они меня толкнули.

Но как раз то, что я так безмолвно, так послушно пошел по направлению к свету, привело, повидимому, в замешательство парней. Они тихо перешептывались. Потом опять нарочно заговорили громко друг с другом.

— Шут с ним, отпусти его, — сказал один (он был малого роста, с изъеденным оспою лицом), но другой ответил с напускною строгостью:

— Нет, брат, шалишь! Пусть-ка это сделает нищий вроде нас, которому жрать нечего, сейчас его засадят под замок. Так нечего спуску давать такому благородному господину.

И я слышал каждое слово, слышал в каждом их слове неуклюжую просьбу о том, чтобы я начал с ними торговаться; преступник во мне понимал преступников в них, понимал, что они хотят пытать меня страхом, и я пытал их своею уступчивостью. Это была немая борьба между нами и — о, как богата была эта ночь! — я чувствовал, посреди смертельной опасности, здесь, в смрадной чаше Пратера, в обществе проходимцев и проститутки, во второй раз за

двенадцать часов почувствовал я неистовый азарт игры, но только дело касалось теперь высшей ставки, всего моего гражданского существования, самой жизни моей. И я предался этой чудовищной игре, искрящемуся волшебству случая, со всею напряженною, вплоть до разрыва напряженною силой моих трепетавших нервов.

— О, вот и полицейский, — послышался голос за моей спиной, — не поздоровится ему, благородному господину, придется недельку отсидеть.

Это должно было прозвучать злобно и грозно, но я слышал запинаящуюся неуверенность в тоне. Спокойно шел я на свет фонаря, где, в самом деле, поблескивала каска полицейского. Еще двадцать шагов — и я стоял бы перед ним. За мною парни перестали разговаривать; я заметил, как они замедлили шаги. В следующее мгновение, — я это знал, — они должны были трусливо нырнуть обратно в тьму, в свой мир, ожесточенные неудачей, и выместить ее, быть может, на этой несчастной. Игра подходила к концу: опять, вторично я выиграл сегодня, опять обманным образом выманил у чужого, незнакомого человека его злое удовольствие. Передо мною уже мерцал бледный круг фонарей, и когда я в этот миг обернулся, то в первый раз увидел лица обоих парней: ожесточение и угрюмый стыд читал я в их шмыгающих глазах. Они остановились, подавленные разочарованием, готовые отпрянуть во мрак. Ибо власть их окончилась; теперь я был тот, кого они боялись.

В это мгновение мною овладело — и мне показалось, будто внутреннее брожение прорвало вдруг все скрепы в моей груди и будто чувство мое горячо переливается в кровь — бесконечная братская жалость к двум этим людям. Чего же они домогались от меня, они, несчастные, голодающие, оборванные парни, от меня, пресыщенного

паразита? Несколько крош, нескольких жалких крош. Они могли бы меня задушить, там, в темноте, ограбить меня, убить и не сделали этого, а только попытались, на неуклюжий, неискusstный лад, запугать меня, из-за этих маленьких серебряных монет, бесполезно лежавших у меня в кармане. Как же я смел, я, вор из прихоти, из наглости, совершивший преступление для щекотания нервов, как смел я еще мучить этих жалких людей? И в мое бесконечное страдание струился бесконечный стыд от мысли, что ради своего сладострастья я еще играл с их страхом, с их нетерпением. Я взял себя в руки: теперь, как раз теперь, когда меня уже защищал свет, струившийся с улицы, теперь я должен был пойти навстречу им, погасить разочарование в этих ожесточенных, голодных взглядах.

Круто повернувшись, я подошел к одному из них.

— Зачем вам доносить на меня? — сказал я и постарался сообщить голосу питонадию подавляемого страха. — Что вам от этого за польза? Может быть, меня арестуют, а может быть и нет. Но вам ведь это ни к чему. Зачем вам портить мне жизнь?

Сба в смущении таращили на меня глаза. Они всего ожидали, окрика, угрозы, от которой бы попятились, как ворчливые собаки, только не этой податливости. Наконец, один сказал, по совсем не угрожающе, а как бы извиняясь:

— Нужно поступать по закону. Мы только исполняем свой долг.

Это была, повидимому, заученная фраза для подобных случаев. И все же она прозвучала как-то фальшиво. Ни тот, ни другой не решались на меня взглянуть. Они ждали. И я знал, чего они ждали: что я буду молить о пощаде; и что предложу им денег.

Я еще помню каждое из этих мгновений. Знаю каждый нерв, напрягавшийся во мне, каждую мысль, проскакивавшую за висками. И я знаю, чего прежде всего хотела моя злая воля: принудить их ждать, продолжать их мучить, упиться сладострастьем сознания, что я их заставляю томиться. Но я быстро поборол себя, я стал клянуть, потому что знал, что должен их, наконец, освободить от страха. Я принялся разыгрывать комедию боязни, просил их сжалиться надо мною, молчать, не делать меня несчастным. Я видел, в какое они пришли смущение, эти бедные дилетанты вымогательства. И тогда я произнес, наконец, слова, которых они жаждали так долго:

— Я... я дам вам... сто крон.

Все трое отшатнулись и выпучили друг на друга глаза. Так много они не ждали, теперь, когда все было потеряно для них. Наконец, один пришел в себя, тот, у кого лицо было в оспинках и взгляд беспокойно шмыгал. Два раза начинал он говорить. Слова у него не вырывались из горла. Потом он произнес — и я чувствовал, как ему стыдно:

— Двести крон.

— Да перестаньте, вы,—вмешалась теперь внезапно женщина,—будьте рады, если он вообще вам что-нибудь даст. Он ведь ничего не сделал, только притронулся ко мне. Это вы, право, через край хватили.

С подлинным ожесточением крикнула она эти слова. И у меня зазвенело сердце. Кто-то меня пожалел, кто-то выступил моим защитником, доброта выглянула из низости, какое-то темное стремление к справедливости—из вымогательства. Какою это было усладой, как вторило это тому, что поднималось во мне! Нет, я не смею больше играть с этими людьми, не смею продолжать их мучить этим страхом, этим стыдом: довольно! довольно!

— Ладно, значит, двести крон!

Они молчали, все трое. Я достал бумажник. Очень медленно, широко раскрыл я его. В один миг могли они вырвать его у меня из рук и спастись бегством в темноте. Но они отвели застенчиво глаза. Между ними и мною была какая-то тайная общность, не было борьбы и игры, и возникло состояние правомерное, состояние взаимного доверия, человеческая связь. Я извлек два кредитных билета из украденной пачки и подал их одному из них.

— Покорно благодарю, — произнес он невольно, и уже отвернувшись. Очевидно, чувствовал сам, что смешно благодарить за добытые вымогательством деньги. Он стыдился, и этот стыд, — о, я ведь все постигал в эту ночь, каждое движение открывалось мне! — подавил меня. Я не хотел, чтобы этот человек стыдился передо мною, равным ему, таким же вором, как он, слабым, трусливым и безвольным, как он. Его унижение мучило его, и мне захотелось освободить его от этого чувства. Я отклонил его благодарность.

— Мне приходится вас благодарить, — сказал я и сам удивился тому, сколько подлинной задушевности было в моем голосе. — Если бы вы донесли на меня, я был бы погибшим человеком. Мне пришлось бы застрелиться, а вам бы это пользы не принесло. Так лучше. Я пойду теперь вправо, а вы сверните в другую сторону. Спокойной ночи!

Они опять приумолкли на мгновение. Потом один сказал:

— Спокойной ночи!

За ним второй, и, наконец — проститутка, которая пряталась в тени. Как тепло, как сердечно это прозвучало, словно искреннее пожелание! По их голосам я чувствовал, что где-то глубоко, в тайниках души, они любили

меня и что этого необычайного мгновения никогда не забудут. В тюрьме или в больнице оно, быть может, припомнится им опять: нечто от меня продолжало в них жить, нечто свое я им отдал. И радость этого дарения наполняла меня, как еще ни одно чувство в жизни.

Я пошел один, сквозь мглу, к выходу из Пратера. Все, чем я был угнетен, покинуло меня; я чувствовал, как изливаюсь, в неведомой полноте, — я, безвестный, — в бесконечную вселенную. Все воспринимал я так, точно оно живет только для меня, и ощущал себя снова связанным со всем, что течет. Черными тенями обступали меня деревья, приветствовали меня своим шелестом, и я их любил. Звезды сияли мне с неба, и я вдыхал их белый привет. Поющие голоса откуда-то доносились, и мне чудилось, что они поют для меня. Все стало вдруг принадлежать мне, с тех пор как я разбил кору, облекавшую мою грудь, и радость, с какою я отдавал, расточал себя, влекла меня ко всему. О, как легко, — чувствовал я, — оставлять радость и самому возрадоваться этой радости: нужно только открыться, и уже струится от человека к человеку живой поток, низвергается от высокого к низкому, пенясь, вновь поднимается из глубины в бесконечность.

У выхода из Пратера, подле стоянки фиакров, я увидел торговку, устало склонившуюся над своею корзиной. Запыленные сухари лежали в корзине и дешевые фрукты. Должно быть, с самого утра сидела она тут, сгорбившись над своими несколькими грошами, и утомление согнуло ее. «Отчего бы и тебе не радоваться», подумал я, «если радуешь я?». Я взял небольшой сухарь и положил в корзину кредитный билет. Она торопливо хотела дать сдачи, но я пошел уже дальше и успел только заметить, как ее испугало счастье, как сгорбленная фигура выпрями-

лась вдруг и заплётавшийся от изумления язык лепетал слова благодарности. С сухарем в руке я подошел к лошади, понурившей усталую голову между оглоблями. Она повернула ко мне морду и приветливо фыркнула. В ее тусклом взгляде я тоже читал благодарность за то, что погладил ее розовые ноздри и подал ей сухарь. И едва лишь я сделал это, мне захотелось большего: доставлять еще больше радости, еще сильнее ощущать, как можно, при помощи серебряных кружочков, нескольких пестрых бумажек утишать страх, убивать заботу, зажигать веселье. Отчего не было нищих тут? Отчего не было детей, — они, наверное, позарились бы на эти воздушные шары, которые нес, ковыляя, домой хмурый хромо́й старик, в виде густых гроздьев на множестве нитей, разочарованный плохой вырубкой этого долгого, знойного дня. Я подошел к нему.

— Отдайте мне шары.

— Десять геллеров за штуку, — сказал он недоверчиво, потому что не мог понять, к чему нужны этому щеголеватому бездельнику, теперь, в полночь, пестрые шары.

— Дайте мне все, — сказал я и дал ему десять крон.

Он зашатался, посмотрел на меня, как ослепленный, потом подал мне веревку, на которой держались все шары. Они оттягивали мне пальцы, хотели вырваться, быть свободными, подняться вверх, в небо. Так ступайте же летите куда вас влечет, будьте свободны! Я выпустил веревочки, и шары взвились вверх, как множество пестрых лун. Со всех сторон сбегались люди и смеялись, из мрака выплывали влюбленные пары, кучера щелкали бичами и, крича, показывали друг другу пальцами, как неслись теперь над деревьями освобожденные шары к домам и крышам. Все созерцал я радостно и забавлялся своим блаженным безумием.

Отчего я никогда в жизни не знал, как это легко и как хорошо — дарить радость. Кредитки вдруг опять начали гореть у меня в бумажнике, оттягивали мне пальцы, как только-что — воздушные шары: они тоже хотели упорхнуть от меня в неведомое. И я взял их, украденные у Лайоса и свои, — ибо несколько уже не различал их и никакой не чувствовал вины за собою, — взял их в руки, готовый бросить их всякому, кто захочет. Я подошел к метельщику, сердито подметавшему пустынную мостовую. Он думал, что я хочу спросить его о какой-нибудь улице, и угрюмо взглянул на меня; я улыбнулся ему и протянул кредитку в двадцать крон. Он вытаращил в недоумении глаза, потом взял ее, наконец, и стал ждать, чего я потребую от него. Я же только улыбался ему, сказав:

— Купи себе на эти деньги чего-нибудь хорошего, — и пошел дальше. Все время смотрел я по сторонам, не нужно ли кому чего-нибудь от меня, и так как никто не подходил, то сам предлагал: одну бумажку подарил проститутке, заговорившей со мною, две — фонарщику, одну бросил в открытое окно пекарни, находившейся в подвале, и так шел все дальше и дальше, оставляя за собою борозды изумления, благодарности и радости. Наконец, я принялся их разбрасывать порознь, смятыми комочками по улице, по ступеням одной церкви и радовался при мысли о том, как завтра, идя на заутреню, какая-нибудь старушка из богадельни найдет эти сто крон и возблагодарит господу, как пораженные и осчастливлены будут какой-нибудь бедный студент, мастерица, рабочий, — как и я сам был в эту ночь поражен и осчастливлен, найдя самого себя.

Я уже не помню теперь, куда и как их все разбросал бумажные, а потом и серебряные мои деньги. Какое-то головокружение чувствовал я, истечение, и когда последние бумажки упорхнули, я ощутил легкость, как если бы

мог летать, свободу, какой еще никогда не испытывал. Улица, небо, дома, — все в мозгу сливалось у меня в какое-то совсем новое чувство обладания, сопринадлежности; никогда, даже в самые пылкие мгновения моей жизни, не сознавал я так сильно, что все эти вещи действительно существуют, что они живут, и что я живу, и что их жизнь и моя жизнь совершенно тождественны, что это одна и та же, великая, могучая жизнь, которой я никогда не умел радоваться, как надлежало, которую постигает только любовь, объемлет только тот, кто отдается.

Потом я пережил еще один последний, темный миг, когда в блаженном состоянии дойдя до своей квартиры, вставил ключ в замочную скважину и предо мной открылся черный вход в мои комнаты. Тут вдруг меня охватил страх, не вернусь ли я теперь в свою старую, прежнюю жизнь, если войду в жилище того, кем я был до этого времени, если лягу в его постель, если снова войду в связь со всем тем, от чего меня эта ночь так дивно освободила. О, нет, только бы не стать снова тем человеком, которым я был, этим вчерашним, прежним джентльменом, корректным, бесчувственным, отчужденным от мира! Лучше низвергнуться во все пучины преступления и омерзения, только бы — в настоящую жизнь! Я был утомлен, невыразимо утомлен и все же боялся, что сон низойдет на меня и снова смочет своею черною тinou то горячее, пылкое, живое, что зажгла во мне эта ночь. Боялся, что все это переживание окажется беглым и бессвязным, как фантастический сон.

Но на утро следующего дня я проснулся, бодрый, и мое благодарно струившееся чувство не обмелело ничуть. С тех пор прошло четыре месяца, и былая черствость не возвращалась ко мне, я все еще переживаю теплое цветение. Волшебное опьянение того дня, когда я вдруг потерял под ногами почву своего мира, низвергся

в неведомое и, при этом низвержении в собственную бездну, ощущал головокружение скорости одновременно с глубиной всей жизни, — этот стремительный пыл, правда, исчез, но я с того времени чувствую при каждом дыхании свою собственную горячую кровь, и чувствую это с возобновляющейся каждый день жизнерадостностью. Я знаю, что сделался другим человеком, с иными ощущениями, иной раздражимостью и более ясным сознанием. Разумеется, я не смею сказать, что стал лучшим человеком: знаю только, что стал счастливее, ибо нашел какой-то смысл в моей совершенно остывшей жизни, смысл, для которого не нахожу другого слова, кроме слова: самая жизнь. С тех пор я ничего не запрещаю себе, ибо ощущаю бессодержательность норм и форм моей среды, не стыжусь ни других, ни самого себя. Такие слова, как честь, преступление, порок приобрели вдруг жестяной, холодный звуковой оттенок, я без отвращения не могу их даже произносить. Я живу тем, что даю себя оживать той силе, которую впервые тогда так дивно ощутил. Куда она толкает меня, я не спрашиваю: быть может, по направлению к новой бездне, к тому, что другие называют пороком, или к чему-нибудь необыкновенно возвышенному. Я этого не знаю и знать не хочу. Ибо я полагаю, что подлинно живет лишь тот, кто судьбу свою воспринимает, как тайну.

Но никогда — и в этом я уверен — не любил я жизнь более пылко, и теперь я знаю, что каждый совершает преступление (единственное мыслимое преступление!) кто равнодушно относится к какому-либо из обликов своих или форм. С тех пор как я начал понимать самого себя, я понимаю также бесконечно многое другое: вид жадно глядящего на витрину человека может меня потрясти, прыжок собаки — привести в экстаз. Я начал вдруг на

все обращать внимание, ничто не безразлично для меня. Я ежедневно читаю в газете (в которой прежде меня интересовали только театральная хроника и аукционы) про множество вещей, волнующих меня; книги, казавшиеся мне скучными, внезапно открылись моему постижению. И вот, что удивительнее всего: я вдруг научился говорить с людьми вне рамок того, что называется беседою. Слуга, живущий семь лет в моем доме, интересуется меня, я часто с ним разговариваю; швейцар, мимо которого я обычно проходил безучастно, как мимо движущегося столба, недавно рассказал мне про смерть своей дочурки, и это потрясло меня сильнее трагедий Шекспира. И это преобразование — хотя, чтобы не выдавать себя, я внешне продолжаю жить в кругу культурной скуки — как будто становится постепенно прозрачным. Многие люди вдруг начали сердечно относиться ко мне, в третий раз на этой неделе ко мне подбегали чужие собаки. И друзья говорят мне, как будто я перенес тяжелую болезнь, с каким-то удовольствием, что находят меня помолодевшим.

Помолодевшим? Я ведь знаю один, что только теперь начинаю действительно жить. Впрочем, таково ведь общераспространенное заблуждение, каждый думает, что все прошлое было только ошибкою и подготовкой, и я отдаю себе отчет в той дерзости, какую совершаю, когда, взяв холодное перо в теплую, живую руку, пишу себе самому, на сухой бумаге: я подлинно живу. Но пусть это безумие, — оно первое из всех сделало меня счастливым, согрело мою кровь и разбудило мою душу. И если я описываю здесь чудо своего пробуждения, то ведь я делаю это только для себя, знающего все это глубже, чем способны мне сказать мои собственные слова. Я не говорил об этом ни с одним из друзей; они не догадывались, каким я уже был мертвецом, они никогда не дога-

даются, как я теперь цвету. И если бы смерти суждено было вторгнуться в эту мою живую жизнь, и эти страницы оказались в руках другого человека, то меня такая возможность ничуть не страшит и не мучит. Ибо, кто ни разу не изведal волшебства подобного мгновения, так же не поймет, как не понял бы я сам еще полгода тому назад, что несколько таких беглых и с виду почти несвязанных друг с другом эпизодов за один вечер способны были так чудесно воспламенить уже угасшую жизнь. Перед таким человеком я не стыжусь, потому что он не понимает меня. А кто постигает эту связь, тот не судит и чужд гордости, перед ним я не стыжусь, потому что он понимает меня. Кто однажды обрел самого себя, тот больше ничего на этом свете утратить не может. И кто однажды постиг в себе человека, тот понимает всех людей.



# **ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ**

**ПЕРЕВОД Д. М. Гурфинкеля**



Когда известный романист Р., после трехдневной экскурсии в горы, возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый,— быстро сообразил он, и этот факт не доставил ему ни радости, ни боли. Бегло просмотрел он шелестящие страницы газеты и поехал в наемном автомобиле к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителей и о нескольких вызовах по телефону и передал на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво вскрыл пару конвертов, интересных для него благодаря их отправителям; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. В это время подали чай, Р. удобно уселся в кресло и пробежал еще раз газету и несколько печатных уведомлений; после этого, он зажег сигару и взялся за отложенное письмо.

В нем было около тридцати страниц, торопливо исписанных неровным незнакомым женским почерком, — скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, — не осталась ли там какая-нибудь сопроводительная записка. Но конверт оказался пустым, и на нем, так же, как и на самом письме, не было ни адреса отправителя, ни подписи. «Странно», подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему

меня, гласило вверху обращение или заголовок. Он остановился в удивлении... К нему ли это относилось или к какому-то вымышленному человеку? В нем сразу проснулось любопытство. И он начал читать.

\* \* \*

Мой ребенок вчера умер — три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь; сорок часов грипп сотрясал лихорадкой его бедное, горячее тельце, и я не отходила от его постели. Я вжала холодные компрессы на его пылавший лобик, днем и ночью держала в своих руках его беспокойные маленькие ручки. На третий вечер я свалилась сама. Мои глаза не выдержали и закрылись помимо моей воли. Три или четыре часа проспала я, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я его увидела после смерти; только глаза ему закрыли, его умные, темные глазки, сложили ему ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырем углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что, когда вспыхивают свечи, тени пробегают по его личику и закрытому рту, и тогда кажется, что его черты шевелятся, и я готова поверить, что он не умер, что он проснется вновь и своим звонким голоском скажет мне что-нибудь наивное и нежное. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать еще раз надежды, не испытать еще раз разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер — теперь у меня только ты на всем свете, только ты, ничего не знающий обо мне, веселящийся в это время или забавляющий себя вещами и людьми. Только ты, никогда не знавший меня, и которого я всегда любила.

Я взяла пятую свечу и поставила ее на стол, где я тебе пишу. Я не могу быть одна с моим мертвым ребенком, не выплавав свою душу, а с кем же мне говорить в этот ужасный час, как не с тобой, который для меня был всем и есть все! Я, может быть, не смогу говорить с тобой вполне ясно, может быть, ты не поймешь меня — голова моя отупела, в висках стучит, и такая боль во всех членах. Я думаю, у меня жар, может быть, тоже грипп, который теперь крадется от двери к двери, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и не должна была бы ничего больше делать. Иногда у меня совершенно темнеет в глазах, я, может быть, не смогу даже дописать до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнавший меня.

С тобой одним хочу я говорить, в первый раз сказать тебе все; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, но о которой ты ничего не знал. Однако, ты узнаешь мою тайну только тогда, когда тебе не придется отвечать мне, — если то, что сейчас жаром и холодом потрясает мое тело, есть, действительно, конец. Если мне суждено жить еще, я разорву это письмо и буду опять молчать, как молчала всегда. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем мертвая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не пугайся моих слов, — мертвая ничего не хочет, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что поведаст тебе моя стремящаяся к тебе тоска. Поверь мне, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти единственного ребенка.

Я поведаю тебе всю мою жизнь, эту жизнь, поистине начавшуюся только в тот день, когда я тебя узнала. До того было что-то тусклое и смутное, куда мое воспоминание никогда не спускалось, какой-то погреб, полный запыленных, затканых паутиной вещей и людей, о которых мое сердце ничего больше не знает. Когда ты явился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, этот последний вздох моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, вдову скромного чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка — мы ведь всегда держались незаметно, словно придавленные нашим мецанским убожеством. Ты, может быть, никогда и не слышал нашего имени, потому что у нас не было дощечки на входных дверях и никто никогда не приходил и не спрашивал нас. Так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, наверное, не помнишь этого, мой любимый; но я — о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя, и как могла бы я не помнить этого, если тогда для меня начался мир. Позволь, любимый, рассказать тебе все, с самого начала, и пусть тебя не утомит четверть часа послушать обо мне, не уставшей всю жизнь любить тебя.

Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые жильцы. Они были бедны и ненавидели бедность в своих соседях, в нас, потому что наша бедность не имела ничего общего с их грубостью опустившихся людей. Он был пьяницей и бил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота

падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, избитая в кровь, простоволосая, на лестницу; пьяный, с криком, преследовал ее, пока из других квартир не выскочили люди и не пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с ними и запретила мне разговаривать с их детьми, которые мстили мне за это при всяком удобном случае. Встречая меня на улице, они кричали всякие гадости мне вслед, а однажды закидали меня такими твердыми снежками, что у меня потекла кровь со лба. Весь дом единодушно и инстинктивно ненавидел этих людей и, когда вдруг что-то случилось, — кажется, мужа посадили за кражу в тюрьму, — и она со своей рухлядью должна была выехать, мы все облегченно вздохнули. Пару дней на воротах висело объявление о сдаче помещения, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что какой-то писатель, одинокий, спокойный господин, снял квартиру. Тогда я в первый раз услышала твое имя.

Через два-три дня пришли маляры, штукатуры, столяры, обойщики, чтобы освободить квартиру от следов пребывания ее неопрятных обитателей. Они начали стучать молотками, чистить, мести, скрести, но мать только радовалась, говоря, что теперь настанет конец этим безобразиям в соседней квартире. Тебя самого мне, во время переезда, еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот маленький, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распорядившийся тихо и деловито. Он сильно imponировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас в предместьи был совершенно новым явлением, а затем еще потому, что он был со всеми так необычайно вежлив, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в товарищеские разговоры.

Моей матери он с первого же дня кланялся почти-тельно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти с благоговением, и сразу видно было, что он, помимо службы, чрезвычайно привязан к тебе. И как я его за это любила, славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему в том, что он всегда может быть возле тебя и служить тебе!

Я для того рассказываю тебе все это, любимый мой, все эти маленькие, почти смешные вещи, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким я была. Еще раньше чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны — все мы в этом маленьком домике в предместьи нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты знаешь, как развито любопытство у людей, живущих мелкими, узкими интересами. И как поднялось во мне это любопытство к тебе, когда однажды, после обеда, я возвращалась из школы домой, и перед домом стоял воз с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх, теперь же переносили отдельные, более мелкие предметы, я осталась стоять у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи казались мне чрезвычайно странными; я таких никогда не видела: тут были индийские божки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины, и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я не верила своим глазам. Их сложили столбиками у двери, там принял их слуга и заботливо обмахнул метелкой каждую из них. Охваченная любопытством, бродила я вокруг все растущей груды, слуга не отгонял меня, но и не поощрял; поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге,

хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплетах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки— тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я думаю, я часами любовалась бы ими, но меня позвала мать.

И вот я весь вечер думала о тебе, еще не зная тебя. У меня самой был только десяток дешевых, переплетенных в истрепанную папку книг, которые я все очень любила и вечно перечитывала. Меня мучила мысль, каким должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, который знал все эти языки и был так богат и, в то же время, так образован. Все эти книги внушали мне какое-то необъяснимое благоговение. Я старалась мысленно создать твой портрет; ты был старым человеком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но уже тогда, когда ты представлялся мне стариком, я была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз мечтала о тебе.

На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось увидеть тебя, и это еще больше возбуждало мое любопытство. Наконец, на третий день я увидела тебя, и как я была потрясена неожиданностью, когда ты оказался совсем другим, не имеющим ничего общего с образом «старого бога», созданным моим детским воображением. Я грезил о добродушном старце в очках, и вот явился ты,—ты, совершенно такой же, как сегодня, ты, не меняющийся, мимо которого бесследно скользят года! На тебе был прелестный светло-коричневый костюм для спорта, и ты своей удивительно легкой, юношеской походкой взбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Шляпу ты держал в руке, и я была

неописуемо поражена, увидев твое светлое, живое лицо и молодые волосы. Я прямо испугалась, до того я была ошеломлена, увидев тебя таким юным, красивым, таким стройным и элегантным. И разве это не странно: в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что меня и всех других всегда так поражало в тебе, — что у тебя какая-то двойственная душа, ты — горячий, легкомысленный, преданный игре и приключениям юноша и, в то же время, в области твоего искусства, неумолимо строгий, верный своему долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я бессознательно почувствовала, что ты ведешь какую-то двойную жизнь, жизнь со светлой, обращенной к внешнему миру стороной, и другую — темную, которую знаешь только ты один; это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия я, тринадцатилетняя, магически притягиваемая к тебе, ощутила с первого взгляда.

Понял ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой ты был для меня, бедного ребенка! Человек, пред которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в другом, огромном мире, вдруг оказался молодым, элегантным, юношески-веселым, двадцатипятилетним человеком! Нужно ли мне еще говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем бедном детском мире меня ничто больше не интересовало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством тринадцатилетней девочки, думала только о твоей жизни, о твоём существовании. Я наблюдала тебя, наблюдала твои привычки, наблюдала приходивших к тебе людей, и все это только увеличивало мое любопытство к тебе самому, вместо того, чтобы его уменьшать, потому что вся двойственность твоего существа отражалась в разнородности этих посещений. Приходили молодые люди, твои това-

рищи, с которыми ты смеялся и бывал весел; приходили оборванные студенты; а то подъезжали в автомобилях дамы, раз я видела директора оперы, видела знаменитого дирижера, которым издали восхищались в театре; бывали маленькие девочки, еще ходившие в коммерческую школу и спешившие смущенно юркнуть в дверь, — вообще, много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже тогда, когда однажды, утром, отправляясь в школу, видела уходившую от тебя под густой вуалью даму. Мне ведь было только тринадцать лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, означало уже любовь. Но я, мой любимый, знаю совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Я гуляла со школьной подругой, и мы, болтая, стояли у ворот. В это время подъехал автомобиль, остановился, и в тот же миг ты порывисто и эластично выпрыгнул из него и готов был уже войти в дом. Невольно мне захотелось открыть тебе дверь, я сделала шаг, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, окутывающим взглядом, похожим на ласку, улыбнулся мне — да, именно с лаской, улыбнулся мне и сказал тихим и почти дружеским голосом: «Большое спасибо, фрейлейн».

Вот и все, любимый; но с этой минуты, с тех пор как я почувствовала на себе этот мягкий, нежный взгляд, я была твоя. Позже, и даже скоро, я узнала, что ты даришь этот охватывающий, притягивающий к тебе, окутывающий и, в то же время, раздевающий взгляд, этот взгляд прирожденного соблазнителя, каждой женщине, проходящей мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, открывающей тебе дверь, — узнала, что этот взгляд не зависит у тебя от воли и склонности, но что твое ласковое отношение к женщинам делает

твой взгляд совершенно бессознательно мягким и теплым, когда ты его обращаешь на них. Но я, тринадцатилетний ребенок, этого не подозревала — я была вся охвачена огнем. Я думала, что эта ласка только для меня, для меня одной, и в этот миг во мне проснулась женщина, полусозревшая женщина, и она навек стала твоей.

«Кто это?» — спросила меня подруга. Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя: в этот миг оно уже было для меня священным, оно стало моей тайной. «Ах, какой-то господин, живущий здесь в доме», — неловко пробормотала я. «Почему же ты так покраснела?» — дразнила меня подруга. И именно потому, что кто-то посмел издеваться над моей тайной, кровь еще горячее прилила к моим щекам. Я была смущена и ответила грубостью. «Дура набитая», — сердито отозвалась я. Я готова была ее задушить. Но она расхохоталась еще громче и насмешливее, и я почувствовала, что слезы бессильного гнева наполняют мои глаза. Я оставила ее и убежала наверх. С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, избалованному, это слово. Но поверь мне, никто не любил тебя так рабски, с такой собачьей преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на земле не сравнится с незаметной любовью ребенка, такой безнадежной, всегда готовой к услугам, такой покорной, чуткой и страстной, какой никогда не бывает исполненная желаний и бессознательных требований любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть, другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям, — они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел

всех людей. Они играют ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчики своей первой папироской. Но я — у меня не было никого, кому я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, я была неопытна и наивна; я бросилась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне росло и распускалось, я поверяла тебе, вызывая в мечтах твой образ; отец мой давно умер, от матери, с ее постоянной озабоченностью женщины, живущей на пенсию, я была далека, испорченные школьные подруги отталкивали меня, легкомысленно играя тем, что было для меня высшей страстью, — и я бросила к твоим ногам все, что обычно раздробляют и делают, всю свою сдавленную и каждый раз наново нетерпеливо пробивающуюся душу. Ты был для меня — как объяснить тебе? каждое сравнение, в отдельности слишком мало — ты был именно всем, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку оно имело отношение к тебе, все в моем существовании лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой, я читала тысячи книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, как ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с невероятным упорством упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и предметом моего непрерывного огорчения была четырехугольная заплатка на моем старом школьном переднике, перекроенном из домашнего платья матери. Я боялась, что ты можешь заметить эту заплатку и станешь меня презирать. Поэтому я, взбегая по лестнице, всегда прижимала к этому месту сумку с книгами и все боялась, как бы ты все-

таки не заметил этот изъян. Но как это было глупо — ты никогда, почти никогда больше на меня не смотрел.

И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подкарауливала тебя. На нашей двери был маленький медный глазок, сквозь круглый вырез которого можно было видеть твою дверь. Это отверстие — нет, нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь тех часов! — было моим глазом в мир, там, в ледяной передней, боясь, как бы не рассердить мать, я просиживала в засаде, с книгой в руке, чуть не целыми днями, как натянутая и звучащая при твоём приближении струна. Я всегда была полна тобой, всегда в напряжении и возбуждении; но тебе было так же трудно заметить это, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые терпеливо считают и отмеряют во тьме твои дни и сопровождают тебя на твоём пути неслышными ударами сердца; ведь ты лишь раз за миллионы отстукиваемых секунд бросаешь на них свой беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы, я знала и скоро научилась отличать отдельных твоих знакомых и разделяла их на таких, которые мне нравились, и таких, которые были мне неприятны. С тринадцати до шестнадцати лет я каждый час жила тобой. Ах, сколько глупостей я выделывала! Я целовала ручку дверей, к которой прикасалась твоя рука, я стащила окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священным, потому что к нему прикасались твои губы. Сотни раз, по вечерам, я под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в каких комнатах горит у тебя свет, и таким образом лучше ощутить твоё невидимое присутствие. А в те недели, когда ты уезжал, — у меня сердце останавливалось всегда от страха, когда я

видела старого Поганна, идущего вниз с твоим желтым чемоданом, — в эти недели моя жизнь замирала и теряла всякий смысл. Мрачная, скучающая, раздражительная, ходила я по дому и должна была следить за тем, чтобы мать по моим заплаканным глазам не отгадала моего отчаяния.

Я знаю, что все это смешные преувеличения чувств и детские выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее чем во время этих детских эксцессов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не зная твоего лица, потому что, при встрече с тобой на лестнице, я, боясь твоего обжигающего взгляда, наклоняла голову и мчалась мимо, как человек, бросающийся в воду чтобы спастись от огня. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы восстановить полный календарь твоей жизни; но я не хочу нагонять на тебя тоску, не хочу мучить тебя. Я только хочу рассказать тебе о прекраснейшем переживании моего детства и прошу тебя не смеяться, что оно так ничтожно, потому что для меня, ребенка, оно означало необыкновенно много. Это было, вероятно, в один из воскресных дней,—ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только-что выколотые им тяжелые ковры. Старику было тяжело, и я, внезапно набравшись храбрости, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь? Он удивился, но не стал возражать и, таким образом, я увидела—могу ли я высказать тебе, какое мной овладело благоговение! — внутренность твоей квартиры, — твой мир, — письменный стол, за которым ты привык сидеть, и на нем цветы в голубой хрустальной вазе. Я увидела твои шкапы, твои картины,

твои книги. Это был лишь воровской, украдкой брошенный взгляд в твою жизнь, потому что верный Иоганн, несомненно, не позволил бы мне много разглядывать, но я этим единственным взглядом впитала в себя всю атмосферу твоего гнезда и запаслась пищей для своих бесконечных грез о тебе, наяву и во сне.

Это событие, этот быстрый миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, начал, наконец, догадываться, как человеческая жизнь горела и сгорела для тебя. Об этом часе я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем часе, который, увы, последовал очень скоро за этим. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не слушалась матери и ни на кого не обращала внимания. Я не заметила, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, отдаленный родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас, — мне это было только приятно, потому что он иногда брал маму с собой в театр, и я могла оставаться одна, думать о тебе, подстергать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот, однажды, мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить со мной. Я побледнела и почувствовала, как у меня внезапно начало биться сердце. Не возникло ли у нее подозрение, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать была сама смущена, она нежно поцеловала меня (чего обыкновенно никогда не делала) раз и другой, притянула меня к себе на кушетку и начала, запинаясь и смущаясь, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячей забилося у меня сердце — только одна мысль

внутри отвечала на эти слова, мысль о тебе. «По мы ведь останемся здесь?» — с трудом пробормотала я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда чудная вилла». Больше я ничего не слыхала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать тихонько рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руками, рухнула на пол, как кусок свинца. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, слабое дитя, боролась против ее, подавлявшей меня, воли. Даже в эту минуту, когда я пишу, у меня при воспоминании об этом дрожит рука. Я не могла выдать свою настоящую тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, каким-то злобным упрямством. Никто больше не заговаривал со мной, все совершалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; возвращаясь домой, я всегда находила то ту, то иную вещь проданной или увезенной. На моих глазах разрушалась квартира, а с нею и моя жизнь, и однажды, вернувшись из школы, я увидела, что были упаковщики мебели и все унесли. В пустых комнатах стояли упакованные чемоданы и две складных кровати — для матери и для меня: нам предстояло провести здесь еще одну ночь, последнюю, а утром мы уезжали в Инсбрук.

В этот последний день я с удивительной ясностью поняла, что не смогу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли, вообще, в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не буду знать, но вдруг — мать куда-то ушла — я вскочила, в платки, в котором только-что была в школе, и пошла к тебе. Нет, я не шла сама, какая-то магнетическая сила тянула меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я сама не пред-

ставляла себе, чего я хотела — упасть к твоим ногам, просить тебя оставить меня у себя, как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над этим невинным экстазом пятнадцатилетней девочки; однако, любимый, ты не стал бы больше смеяться, если бы знал, как я стояла тогда в холодном проходе, скованная страхом и все-таки гонимая вперед какой-то неведомой силой, как я, словно отрывая дрожащую руку от тела, заставила ее подняться, и после коротких, но составлявших целую вечность мгновений борьбы нажала пальцем пуговку звонка. Я по сей день слышу резкий, дребезжащий звон и сменившую его тишину; когда сердце мое перестало биться и вся кровь во мне остановилась и прислушивалась, не идешь ли ты.

Но ты не пришел. Не пришел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении бросилась на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала, больше чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но под этим утомлением тлела еще неугасшая решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Я клянусь тебе, к этому не примешивалось никакой чувственной мысли, я была еще совершенно наивна, именно потому, что ни о чем больше не думала, как о тебе; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать улеглась в постель и заснула, я выскользнула в переднюю и стала прислушиваться, не идешь ли ты домой. Я прождала всю ночь, всю эту ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ныло, и кругом не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло от двери.

В одном лишь топеньком платъи лежала я на холоду и даже не покрылась одеялом, я боялась, что, согревшись усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, руки у меня дрожали; приходилось каждый раз вставать, так холодно было в этом ужасном, темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.

Наконец, — вероятно было уже около двух или трех часов, — я услышала как отперли внизу ворота, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, тихонько отворила я дверь, готовая броситься тебе навстречу, упасть к твоим ногам... Ах, я не знаю, чего бы я, глупое дитя, ни надела тогда. Шаги приблизились, огонек свечи заколыхался по стенам. Дрожа, держалась я за рукоятку двери. Ты это, или кто-нибудь другой?

Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала заглушенный смех, шуршанье шелкового платъа и твой тихий голос — ты шел к себе с какой-то дамой...

Как я могла пережить эту ночь, я не знаю. На следующее утро, в восемь часов, меня увезли в Инсбрук; у меня не было сил сопротивляться.

\* \*  
\*

Мой ребенок вчера ночью умер — теперь я буду опять одна, если мне действительно суждено жить еще. Завтра придут чужие, одетые в черное, бесцеремонные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут и друзья и принесут венки, но что значат цветы возле гроба? Люди станут утешать меня и говорить мне какие-то слова, слова, слова; но чем люди могут помочь мне? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего

более ужасного чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведенные в Инсбруке, от моего шестнадцатого до восемнадцатого года, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила среди своей семьи. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, прекрасно относился ко мне; мать, словно заглаживая какую-то неосознанную вину предо мной, шла навстречу всем моим желаниям; я была окружена молодым людьми, но я отталкивала их всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной — вдали от тебя. Я сама зарывала себя в какой-то мрачный мир самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала; я отказывалась ходить на концерты и в театр или принимать участие в веселых поездках за город. Я почти не выходила на улицу — поверишь ли ты, любимый, что я едва ли знала десяток улиц в этом маленьком городке, где прожила целых два года? Я предавалась печали и хотела быть печальной, я опьяняла себя лишениями, но моим главным страданием было то, что я не видела тебя. И, кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти, хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями только думала о тебе, снова и снова прерывая в памяти тысячи маленьких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание, — я, как в театре, разыгрывала в своем воображении все эти мелкие эпизоды. И, оттого что я несчетное число раз повторяла каждую секунду минувшего времени, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти, и каждый миг тех минувших лет я чувствую так ясно и горячо, как если бы он еще вчера жил в моей крови.

Только тобой жила я в это время. Я покупала все твои книги; когда твое имя упоминалось в газете, это

был для меня праздник. Поверишь ли ты, что я знаю наизусть каждую строчку твоих книг, — так часто я их читала. Если бы ночью разбудили меня и прочли мне какую-нибудь наугад вырванную строку, я могла бы еще теперь, через тринадцать лет, продолжить ее с того же места; каждое твое слово было для меня, как евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его отношении к тебе; я читала в венских газетах о концертах, о премьерях с одной лишь мыслью, какие из них могут интересоваться тебя, а когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя: вот тыходишь в зал, вот садишься на свое место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что один единственный раз видела тебя в концерте.

Но к чему рассказывать обо всем этом, об иступленном, трагически безнадежном экстазе одинокого ребенка, зачем рассказывать эти вещи тому, кто не подозревает, кто ничего не знает о них? Но действительно ли я была тогда еще ребенком? Мне исполнилось семнадцать, восемнадцать лет, — на меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только раздражало меня. Любовь, или только игра любовью, в помыслах о ком-нибудь другом, кроме тебя, была мне чужда и невыносима, и даже самое искушение я сочла бы за измену тебе. Моя страсть к тебе была неизменна, но с развитием моего тела, с пробуждением моих чувств, она стала более пылкой, более плотской и женственной. И то, чего не могло подозревать дитя, которое, повинувшись бессознательному влечению, позвонило у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью: подарить себя тебе, отдаться тебе.

Окружающие считали меня робкой, называли тихоней, оттого что я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне росла железная воля. Все мои мысли и стремления

были направлены к одному: назад в Вену, назад к тебе. И я поставила на своем, каким бессмысленным и непонятным ни казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свое дитя. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать себе на жизнь, и, наконец, добилась того, что поехала в Вену и поступила на службу к одному родственнику в магазин дамских вещей.

Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер — наконец! наконец! — я прибыла в Вену? Я оставила чемодан на вокзале, вскочила в трамвай — мне казалось, что он так ползет! каждая остановка выводила меня из себя — и подъехала к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, сердце пело у меня в груди. Лишь теперь стал для меня живым город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом, лишь теперь жила я сама, чувствуя твою близость, тебя, мой вечный сон. Я ведь не понимала, что за горами, за долами и реками я была так же чужда твоему сознанию, как теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоём окне отделяло тебя от моего восторженного взора. Я все стояла и смотрела вверх; там был свет, был дом, был ты, был весь мой мир. Два года мечтала я об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, мягкий, мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я домой.

Каждый вечер простаивала я так перед твоим домом. До шести я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой; но мне была приятна эта суета, так как она отвлекла меня от моих мучительных мыслей. И как только железные шторы с грохотом опускались за мной, я устремлялась к своей любимой цели. Увидеть

тебя. встретиться с тобой было моим единственным желанием, еще хоть раз, издали, охватить взглядом твое лицо. Прошло около недели, и, наконец, я встретила тебя, встретила в тот миг, когда как раз этого не ожидала. Я только успела взглянуть вверх на твои окна как ты перешел через улицу. И вдруг я стала опять тринадцатилетним ребенком и почувствовала, как кровь хлынула к моим щекам. Невольно, против своего внутреннего стремления, против томительного желания одутить твой взгляд, я склонила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я стыдилась этого школьнического трусливого бегства, потому что моя воля была ведь для меня теперь ясна: я хотела встретиться с тобой, я искала тебя, я хотела, чтобы ты узнал меня, после всех этих прожитых в томительных сумерках лет, хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил меня.

Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, не обращая внимания на мятежь и острый, режущий весенский ветер, простаивала в твоей улице. Часто я по целым часам ждала напрасно, часто ты выходил, наконец, из дома в сопровождении знакомых, и два раза я видела тебя с женщинами. В эти мгновения я чувствовала, что стала взрослой, угадывала какую-то новизну, измененность в моем чувстве к тебе—по той внезапной боли в сердце, которая разрывала мне душу при виде чужой женщины, с такой уверенностью идущей рука об руку с тобой. Я не была поражена: о твоих вечных посетительницах я знала ведь с малых лет, но теперь это причиняло мне прямо физическую боль, что-то напрягалось во мне, восставая против этой, очевидной, тесной интимности с другой. Один день,—детски гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор,—я не была у твоего дома; но каким ужасно пустым показался мне этот вечер упорства и воз-

мущения! На следующий вечер я опять смиренно стояла перед твоим домом, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой жизнью.

И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали увидела тебя и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случай хотел, чтобы улица была загорожена какой-то телегой, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но, в тот же миг как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение — о, как страшно мне было вспомнить об этом! — тот посвященный женщинам взгляд, нежный, окутывающий и, в то же время, разрывающий, тот взгляд, который меня, ребенка, превратил в горящую любовью женщину. Секунду, другую этот взгляд приковывал мой, я не в силах была оторваться, а ты уже прошел мимо. У меня билось сердце; невольно, замедлив шаг и уступая непреодолимому любопытству, я оглянулась и увидела, что ты остановился и смотришь мне вслед. И по тому любопытству и интересу, с которым ты меня разглядывал, я сразу догадалась, что ты меня не узнал.

Ты не узнал меня ни тогда, ни потом; никогда ты не узнал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты; тогда, ведь, в первый раз я испытала свою судьбу — быть неузнанной тобой. Как изобразить тебе мое разочарование! Подумай, за два года жизни в Инсбруке, когда я каждый миг думала о тебе и только и делала, что рисовала себе картину нашей будущей встречи в Вене, я, смотря по настроению, перебирала самые печальные возможности наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении; в самые мрачные минуты я представляла себе, что ты оттолкнешь меня,

отвернешься от меня, потому что найдешь меня ничтожной, некрасивой, навазчивой. В своих страстных видениях я вкусила все виды твоей неблагосклонности, твоей холодности, твоего равнодушия; но даже в самые безнадежные мгновения, в минуты, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, не думала я об этом, самом ужасном: что ты, вообще, совершенно не заметишь моего существования. Теперь-то я понимаю, — о, ты научил меня понимать! — что лицо девушки, женщины должно казаться мужчине чем-то крайне изменчивым, потому что оно, большей частью, представляет собой лишь отражение — то страсти, то детской наивности, то утомления и расплывается так же легко, как изображение в зеркале. Мужчине легче забыть лицо женщины, чем наоборот, потому что возраст меняет на женском лице игру света и тени, потому что одежда создает для него каждый раз иную рамку. Отвергнутые женщины — самые умудренные. Но я, тогда еще молоденькая девушка, не могла так легко понять твою забывчивость, тем более, что в результате моих непрестанных мыслей о тебе, во мне зародилась какая-то уверенность, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня; как могла бы я жить, сознавая, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не касается твоей души! И это пробуждение под твоим взглядом, показавшим мне, что ни одна струнка в тебе не помнит меня, что ни одна нить воспоминания не протянута от твоей жизни к моей, — было первым падением в действительность, первым предчувствием моей судьбы.

Ты не узнал меня тогда. И когда, через два дня, твой взгляд с известной интимностью охватил меня при новой встрече, ты опять не узнал во мне ту, которая любила тебя и которую ты разбудил, а только хорошенькую восем-

надцатилетнюю девушку, встреченную на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и дружелюбно, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас замедлил шаг, — я дрожала, я ликовала, я молилась, чтобы ты заговорил со мной. Я чувствовала, что в первый раз я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише и не уклонилась от встречи. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной: не оборачиваясь, я уже знала, что услышу твой любимый голос, в первый раз обращенный ко мне. Ожидание сковывало меня, и я боялась, что мне придется остановиться, с такой силой билось во мне сердце, — но в этот миг ты подошел ко мне. Ты заговорил со мной с твоей обычной веселостью, словно мы были старые друзья — ах, ты ведь ничего не подозревал, ты никогда не подозревал о моей жизни! — с такой очаровательной непринужденностью заговорил ты со мной, что я была даже способна отвечать. Мы прошли вдвоем всю улицу. Потом ты спросил меня, не поужинаем ли мы вместе, — я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе?

Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане — помнишь ли ты, где это было? О, нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же, ибо кем я была для тебя? Одной из сотни, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло напомнить тебе обо мне? Я мало говорила, потому что для меня составляло невероятное счастье быть возле тебя, слушать твои слова. Ни вопросом, ни глупым словом не хотела я растратить эти мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты осуществил мои благоговейные ожидания, как деликатен ты был, с каким тактом себя держал: без всякой навязчивости, без всяких вкрадчивых нежностей и, с первой же минуты:

с такой уверенной, дружеской искренностью, что ею ты победил бы меня, если бы я уже давно всей своей волей, всем моим существом не была твоя. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания.

Было поздно, и мы встали. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Как могла бы я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой! Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, с легкой заминкой в голосе, спросил меня, не зайду ли я к тебе поболтать. «С удовольствием», — повинаясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то неприятно, не то радостно, но явно поразила тебя. Теперь я понимаю твое удивление: я знаю, что у женщин принято отрицать эту готовность отдаться даже тогда, когда они горят желанием, принято разыгрывать испуг или возмущение, которые должны быть успокоены настойчивыми просьбами, ложью, клятвами и обещаниями. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь — профессия, проститутки, ответили бы немедленным согласием на подобное приглашение, или же так могла поступить совершенно наивная молодая девушка. Во мне же это была лишь — как мог ты об этом подозревать? — обратившаяся в слова воля, неудержимое стремление тысячи отдельных дней. Как бы то ни было, ты был удивлен, я начала интересоваться тобой. Я чувствовала, что ты во время ходьбы незаметно и удивленно всматриваешься в меня. Твое чувство, это живущее во всех людях магически верное чувство, сразу подсказало тебе, что какая-то тайна, что-то необычное скрыто в этой миловидной, податливой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я заметила, что ты стараешься отгадать эту

загадку. Но я уклонилась от прямых ответов: я предпочитала показаться тебе глупой чем выдать свою тайну.

Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я тебе скажу, что ты не можешь понять, чем был для меня подъем по этой лестнице, какое я испытывала опьянение, смущение, какое безумное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез. Но ты должен понять, что каждый предмет там был как бы пропитан моей страстью и был для меня символом моего детства, моей тоски,—ворота, перся которыми я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, отделявший меня от мира моих стремлений, коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, звук ключа в замке, заставлявший меня всегда вздрагивать. Все детство, вся моя страсть сосредоточивались на этом небольшом пространстве; тут была вся моя жизнь, а теперь на меня словно обрушилась буря: все, всё исполнилось, и я шла с тобой—я с тобой!—по твоему, по нашему дому. Подумай,—это звучит банально, но я не умею иначе сказать,—перед твоей дверью была действительность, тупая, бесконечная повседневность, а за ней начиналось сказочное царство ребенка, царство Аладина; подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, которую я теперь прошла, опьяненная, и ты догадаешься о том—только догадаешься, но никогда не поймешь вполне, мой любимый!—что значил в моей жизни этот стремительный миг.

Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог подозревать об этом, любимый, если я не оказала тебе никакого сопротивления и подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не мог отга-

дать гайну моей любви к тебе, которая, наверное, испугала бы тебя, потому что ты ведь любишь только все легкое, невесомое, мимолетное и боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе, невинная, то умоляю тебя: не пойми этого в неправильном смысле! Я ведь не обвиняю тебя, ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял—я, я сама пришла к тебе, бросилась тебе на грудь, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя, нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что, как богата, как озарена радостью, как напоена блаженством была для меня эта ночь! Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что не звезды у меня над головой, что я не на небе—нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый: этот час искупил все. И я помню, когда ты спал и я слышала твое дыхание, чувствовала твое тело и свою близость к тебе' я плакала в темноте от счастья.

Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было попасть в магазин, и я хотела уйти раньше чем придет слуга—он не должен был меня видеть. Когда я, одетая, стояла перед тобой, ты схватил меня рукой и долго смотрел на меня. Было ли это воспоминание, темное и отдаленное, шевельнувшееся в тебе, или просто я показалась тебе красивой и дышащей счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и хотела уйти. Ты спросил меня: «Не возьмешь ли ты с собой немного цветов?». Я сказала: «Да». Ты вынул четыре белых розы из голубой хрустальной вазы на письменном столе (о, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком забралась в твою квартиру). Ты дал мне эти розы, и я целыми днями целовала их.

Мы условились еще раз встретиться. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать — о, как ненавидела я с самого детства эти путешествия! — и ты обещал мне сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес — до востребования; своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощанье дал мне две розы, — на прощанье!

Каждый день, два месяца подряд, я справляюсь... но нет, к чему изображать тебе эти адские муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя, я люблю тебя таким, каков ты есть, горячего и забывчивого, увлекающегося и неверного, я люблю тебя таким, только таким, каким ты был всегда и каким остался и теперь.

Ты давно уже вернулся, я видела это по твоим освещенным окнам, но ты мне не писал. У меня нет ни строчки от тебя в эти последние часы, ни строчки от тебя, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, я все ждала. Но ты не позвал меня, ни строчки не написал мне... ни строчки...

\* \* \*

Мой ребенок вчера умер — это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый, — дитя одной из тех трех ячеек; я клянусь тебе в этом, и ты знаешь, что в присутствии смерти не лгут. Это было наше дитя, я клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, когда я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя извлекли из моего тела. Мое тело было священно для меня благодаря твоему прикосновению. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимоходом прикасавшимися к моей жизни? Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви

и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки, наше дитя, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня—быть может, испуганно, быть может, только удивленно — ты спросишь меня, любимый, почему я все эти годы молчала об этом ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он спит во мраке, уснув навек, и лежит, готовый уйти, чтобы никогда, никогда не возвращаться. Но как я могла сказать тебе? Ты никогда не поверил бы мне, незнакомой женщине, покорной подруге трех ночей, без сопротивления и даже с ответным желанием отдавшейся тебе, ты никогда не поверил бы мне, безымянной, случайной знакомой, что я осталась тебе верна, тебе, неверному, и лишь с недоверием признал бы ты этого ребенка своим! Никогда, и даже в том случае, если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайного подозрения, что я пытаюсь подсунуть тебе, состоятельному человеку, чужого ребенка. Ты относился бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, беглая, робкая тень недоверия между тобой и мной. Этого я не хотела. И потом, я ведь знаю тебя; я знаю тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя, и я знаю, что тебе, любящему только беззаботное, легкое, любящему в любви только игру, было бы неприятно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя связанным со мной. Ты,—я знаю, что это было бы независимо от твоей воли,—возненавидел бы меня за свою связанность. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут, я была бы тебе в тягость, была бы тебе ненавистна, я же в своей гордости мечтала о том, чтобы ты никогда в жизни не имел от меня забот. Я предпочитала взять [все на себя, чем стать для тебя обузой, и хотела быть единственной среди любивших тебя

женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но, увы, ты никогда обо мне не думал, ты забыл меня.

Я не виню тебя, любимый! Нет, я не виню тебя. Прости мне, если иногда капля горечи просачивается в мои строки— мое дитя, наше дитя, лежит ведь мертвое возле меня под мигающими свечами; я грозила кулаками богу и называла его убийцей, у меня все спуталось на душе. Прости мне жалобу, прости ее мне! Я ведь знаю, ты добр и отзывчив по природе, ты помогаешь всякому, помогаешь совершенно незнакомым людям, если они обращаются к тебе. Но твоя доброта так своеобразна, она открыта для всякого, и всякий может черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки; твоя доброта велика, безгранична, но она—ты мне прости—она ленива, она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят, помогаешь, из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты,—позволь тебе это открыто сказать,—человека в нужде и горе любишь, не больше чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Раз, когда я еще была ребенком, я видела через наш «глазок», как ты подал что-то позвонившему у твоей двери нищему. Ты дал ему, прежде чем он успел попросить, и дал, много, но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел; и казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я никогда не забуду твою беспокойную, робкую, избегающую благодарности манеру оказывать помощь. Поэтому-то я никогда и не обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда, и не имея уверенности, что это твой ребенок. Ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег, но все это с тайным нетерпением поскорее сбросить с себя эту неприятность: я даже думаю,

что ты стал бы уговаривать меня заблаговременно предупредить появление ребенка. А этого я боялась больше всего — потому что, чего бы я ни сделала, если бы ты этого пожелал, как могла бы я в чем-либо отказать тебе! Но это дитя было для меня всем; оно ведь было от тебя, повторение тебя, но не ты, счастливый, беззаботный, которого я не могла удержать, а ты, данный мне — так я думала — навсегда, связанный с моим телом, связанный с моей жизнью. Теперь я, наконец, поймала тебя, я могла ощущать в моих жилах тебя, рост твоей жизни, могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жаждой ласки горела душа. Вот почему, любимый, была я так счастлива, когда знала, что буду иметь от тебя ребенка. Вот почему я скрыла от тебя, — теперь ты, все равно, не мог убежать от меня.

Правда, любимый, я пережила не только месяцы счастья, предчувствованные моей душой; настали для меня месяцы, полные ужаса и муки и отвращения перед людской низостью. Мне пришлось не легко. В магазин я в последние месяцы ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не хотела и жила тем, что продала кое-какие принадлежащие мне вещицы. За неделю до родов прачка украла у меня из шкапа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют. Там, куда приходят в своей беде самые бедные, отверженные и забытые, среди подонков нищеты, там родилось твое дитя. В приюте было ужасно, все казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга. Только общее несчастье, общая мука столкнули нас вместе в этой душной, пропитанной хлороформом и кровью, полной криков и стонов палате.

Все унижения, какие приходится претерпевать немущим, стыд, нравственный и физический, испытала я там в обществе проституток и больных; как страдала я от цинизма молодых врачей, которые с насмешливой улыбкой приподнимали с незащищенных женщин одеяла, с фальшиво ученым видом давали волю своим рукам; сколько натерпелась от алчности сиделок! О, там человеческую стыдливость распирают взглядами и бичуют словами. Табличка с твоим именем, вот все, что остается там от тебя, а то, что лежит в кровати, просто кусок содрогающегося мяса, предмет для показа и изучения — ах, женщины, у себя дома дарящие ребенка взволнованному ожиданием супругу, они не знают, что значит рожать одинокой, незащищенной, чуть ли не на экспериментальном столе! И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно думаю о битком набитой, смрадной палате, где стоны и грубый смех перемежаются с кровавыми воплями, об этой клоаке позора.

Прости, прости мне, что об этом я говорю. Я говорю об этом в первый раз и никогда, никогда больше не буду. Я молчала об этом одиннадцать лет и скоро умолкну навсегда; но один раз я должна была выплакаться, один раз высказать, какой дорогой ценой досталось мне это дитя, составлявшее для меня счастье жизни и теперь бездыханное. Я давно уже забыла эти часы, забыла их в улыбке ребенка, в его смехе, в своей радости; но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я должна выплакать ее, должна облегчить свою душу в этот единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только бога, только бога, лишившего это страдание всякого смысла. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю, и я никогда в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилось в муках, когда тело мое сгорало от стыда под любопытными

взглядами студентов, даже в мгновения, когда боль разрывала мне душу, я не винила тебя перед богом; никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе; я всегда любила тебя, всегда благословляла тот час, когда я встретила тебя. И если бы повторились те адские часы и я знала бы наперед, что меня ожидает, я пошла бы на это еще раз, любимый мой, еще раз, и тысячу раз!

\* \*  
\*

Наш ребенок вчера умер — ты никогда его не знал. Никогда, даже в мгновенной, случайной встрече твой взор не коснулся этого маленького, цветущего создания, твоего создания. Я долго скрывалась от тебя, с того момента как у меня был ребенок: моя тоска по тебе стала менее мучительной, я даже думаю, что я любила тебя уже менее страстно, по крайней мере, я теперь не так страдала от своей любви. Я не хотела делить себя между тобой и им; и я отдала себя не тебе, баловню счастья, жившему в стороне от моей жизни, а ребенку, которому я была нужна, которого я могла кормить, целовать и держать в своих объятиях. Я была как будто спасена от своего томления по тебе, от своего рока, спасена этим другим «тобой», принадлежавшим, по справедливости, мне; лишь изредка, очень редко, мое чувство смиренно влекло меня к твоему дому. Только одно я делала — посылала тебе каждый год ко дню твоего рождения несколько белых роз, точно таких же, какие ты подарил мне тогда, после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти десять, за эти одиннадцать лет, кто их тебе посылает? Не вспомнил ли ты случайно о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю и никогда не узнаю твоего ответа. Я довольствовалась тем, что протягивала их тебе

из мрака, раз в году позволяя расцвести воспоминанию о том часе.

Ты никогда не узнал нашего бедного ребенка, — сегодня я упрекаю себя, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика, ты никогда не видел, как он улыбался и, поднимая свои темные, вдумчивые глаза — твои глаза! — озарял их лучистым, радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой веселый, такой милый. В нем по-детски повторилась вся легкая живость твоего существа, твоя быстрая, пылкая фантазия. Он мог часами с увлечением играть разными вещами, как ты играешь жизнью, а потом подолгу просиживал, серьезно подняв брови, над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явственно проявляться свойственная тебе двойственность серьезности и легкомыслия, и чем более он становился похож на тебя, тем больше я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока, его тетрадки были самые опрятные во всем классе, и как он был притом хорош, в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке! Он был всегда самым эlegantным, где бы он ни показывался; когда я гуляла с ним по берегу в Градо, женщины останавливались и гладили его длинные белокурые волосы; когда он на Земмеринге катался на санях, люди в удивлении оглядывались на него. Он был такой миловидный, такой нежный и ласковый. Когда он в минувшем году поступил в интернат Терезианума, он носил свою форму и маленькую шпагу, как паж восемнадцатого века — теперь на нем, бедном, только рубашечка, и он лежит с бледными губами и сложенными на груди руками.

Но ты, может быть, спросишь меня, как я могла воспитывать дитя в такой роскоши, как сумела я доставить ему эту светлую, радостную жизнь высшего класса. Люби-

мый мой, я говорю с тобой из мрака; я не стыжусь, я скажу тебе, но только не пугайся, любимый, — я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавала себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники. Сначала я искала их, потом — они меня, потому что я была — заметил ли ты это когда-нибудь? — очень хороща собой. Все, кому я ни отдавалась, влюблялись в меня, были благодарны мне, привязывались ко мне, все любили меня — только ты не полюбил меня, только ты, мой любимый!

Презираешь ли ты меня теперь, после этого признания? Нет, я знаю, ты не презираешь меня; я знаю, ты понимаешь все, поймешь и то, что я поступала так ради тебя, ради твоего второго «я», ради твоего ребенка. Однажды, в палате родильного приюта я прикоснулась к ужасам нищеты, я знала, что бедного всегда попирают, унижают, он всегда является жертвой, и я ни за что на свете не хотела, чтобы твое дитя, твое светлое, чудное дитя выросло на дне, среди голытьбы, среди дикости и пошлости улицы, в ядовитом воздухе задворков. Его нежные уста не должны были знать языка сточной канавы, его белое тельце не должно было носить жесткого, заскорузлого белья бедноты — у твоего ребенка должно было быть все, роскошь и всевозможный комфорт, он должен был подняться до тебя, до твоей жизненной сферы.

Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Это не составляло для меня жертвы, так как то, что обычно называют честью и позором, не имело для меня значения; ты не любил меня, ты, единственный, кому должно было принадлежать мое тело, и мне было безразлично, что еще будет с ним. Ласки мужчины и даже их сильная страсть не затрагивали моей души, хотя я очень уважала многих из них, и меня, при воспоминании о

собственной судьбе, искренне трогала их остававшаяся без ответа любовь. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали меня. В особенности один пожилой вдовец, граф, любил меня, прямо как дочь, и без конца обивал пороги канцелярий, чтобы добиться приема твоего ребенка, твоего безродного ребенка в Терезианум. Три раза, четыре раза просил он моей руки — я могла быть теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле, могла отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, боготворившего его отца, а я — спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась, несмотря на все его настояния, несмотря на то, что причиняла ему боль своим отказом. Возможно, что это была глупость, потому что я жила бы теперь где-нибудь в тиши и мое ненаглядное дитя было бы со мной, — но почему бы мне не признаться тебе? — я не хотела связывать себя, хотела в любой час быть свободной для тебя. Где-то, в сокровенной глубине души, все еще таилась моя старая детская мечта, что ты еще позовешь меня, хотя бы только на час. И ради этого одного возможного часа, я оттолкнула от себя все, — лишь бы быть свободной и пойти по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с момента пробуждения сознания, как не ожиданием, ожиданием твоей воли!

И этот час, действительно, настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нем, мой любимый! Ты не узнал меня и в этот раз — никогда, никогда, никогда ты не узнавал меня! Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в Пратере, на улице — каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня, я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину; говорили, что я хороша; я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты

заподозреть во мне робкую девушку, которую ты видел в полумраке твоей спальни!

Иногда с тобой раскланивался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин. Ты отвечал и бросал взгляд на меня, но этот взгляд был простой вежливостью, знаком минутного интереса; это был незнающий, чуждый, бесконечно чуждый взгляд. Я помню случай, когда это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, доставило мне жгучую боль. Я была в опере и сидела в ложе со своим знакомым, а ты в соседней ложе. Во время увертюры свет погас, и я больше не могла видеть твоего лица, но я слышала рядом с собой твое дыхание, как тогда, в ту ночь, а на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая, нежная рука. И мной овладело неодолимое желание нагнуться и смиренно поцеловать эту руку, когда-то ласкавшую меня. Вокруг колыхалось море возбуждающих звуков, и желание во мне неудержимо росло; я должна была делать над собой судорожные усилия, чтобы не уступить этой силе, притягивавшей мои губы к твоей любимой руке. После первого акта, я попросила моего друга увести меня. Я больше не могла вынести присутствия в темноте так близко от меня и... так бесконечно далеко любимого мной человека.

Но час настал, он настал еще раз, последний раз в моей разрушенной жизни. Это было почти ровно год тому назад, в день, следующий за днем твоего рождения. И странно, я весь этот день думала о тебе, потому что день твоего рождения я справляла всегда, как праздник. Рано, рано утром я уже вышла и купила белые розы, которые я ежегодно посылала тебе, как воспоминание о забытом тобою часе. После обеда я поехала с мальчиком в кондитерскую Демеля, а вечером в театр; я хотела,

чтобы и он, не зная значения этого дня, ощущал его с ранних лет, как некий мистический праздник. На следующий вечер я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым брюннским фабрикантом, с которым жила уже два года; он обожал меня, баловал, хотел так же, как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, повидимому, беспричинный отказ, хотя засыпал меня и ребенка подарками и был сам очень милый и добрый человек. На концерте к нам присоединилась веселая компания, мы поужинали в одном из ресторанов на Рингштрассе, и там, среди смеха и шуток, я предложила заглянуть еще в танцевальный зал—в Табарен. Обычно такие места были противны мне, с их заученной алкогольной веселостью, и я всегда сама протестовала против подобных предложений, однако, в этот раз какая-то необъяснимая, магическая сила заставила меня неожиданно бросить эту мысль, радостно подхваченную остальными. Меня влекло туда смутное желание, словно какая-то неожиданность предстояла мне там. Привыкшие угождать мне, мои спутники быстро встали, и мы пошли, пили там шампанское, и на меня вдруг нашла какая-то дикая, незнакомая мне, нездоровая веселость. Я пила и пила, подхватывала гривуазные песенки и испытывала неудержимое желание танцевать и смеяться. Но вдруг что-то содрогнулось во мне, словно холодом или огненным жаром обдало мое сердце: за соседним столиком сидел ты со своими друзьями и смотрел на меня восхищенным и полным желанием взглядом, тем взглядом, который всегда имел надо мной такую власть. В первый раз за десять лет я вновь ощутила могущество твоего страстного взгляда. Я задрожала.

Я чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших со мной за столом не

заметил моего смущения. Оно потонуло в раскатах схема и музыки.

Все сильнее воспламенялся твой взор и все более обжигал меня. Я не знала, узнал ли ты меня, наконец, или желаешь меня наново, как другую, незнакомую женщину. Кровь прихлынула к моим щекам, и я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как смущена я была твоим взором. Незаметным движением головы ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла в переднюю. Затем ты поспешно расплатился, простился с товарищами и вышел, еще раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала, как в ознобе, как в лихорадке, не могла говорить, не могла смирить волнения своей крови. Как раз в этот миг, негритянская пара, прищелкивая каблучками и вскрикивая, пустилась в какую-то странную пляску: все стали смотреть на них, и я воспользовалась этим мгновением. Я встала, сказала своим друзьям, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой.

Ты стоял в передней у вешалок и ждал меня. Когда я подошла, твой взор прояснился. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу. Я сразу увидела, что ты не узнал меня, не узнал во мне ни ребенка давно минувших лет, ни девушку; тебя тянуло ко мне, как к чему-то новому, неизвестному. «Найдется у вас, как-нибудь, и для меня часок?» — спросил ты, и по уверенности твоего тона я почувствовала, что ты принимаешь меня за одну из этих дам, которых можно купить на вечер. «Да», — ответила я — то же дрожащее, само собой подразумевающееся «да», которое однажды, более десяти лет назад, сказала тебе девушка в сумерках улицы. «Когда же мы могли бы увидеться?» — спросил ты. «Когда вам угодно», — ответила я — перед тобой у меня не было стыда. Ты

взглянул на меня немного удивленно, с тем же недоверчивым любопытством и недоумением, как тогда, когда я совершенно так же поразила тебя поспешностью своего согласия. «Могли бы вы сейчас?» — несколько нерешительно спросил ты. «Да», — ответила я, — «пойдем».

Я направилась к вешалке, чтобы взять свое манто.

Тут я вспомнила, что у моего друга был общий номерок от нашего платья. Возвратиться и попросить номерок было бы невозможно без сложных объяснений; с другой стороны, пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, столь желанным все эти годы, я не хотела. Я не колебалась ни секунды. Набросив на плечи только шаль, я вышла в сырую туманную ночь, не заботясь о своем манто, не думая о добром, внимательном ко мне человеке, с которым жила уже несколько лет, и поставленном мною теперь в самое нелепое и унижительное положение перед друзьями — в положение глупца, у которого его возлюбленная убегает по первому зову чужого человека. О, в глубине души я сознавала всю низость и неблагодарность своего поведения; я чувствовала, что поступаю бессмысленно и наношу своему другу смертельную обиду, чувствовала, что разбиваю свою жизнь — но что значила для меня дружба и вся жизнь в моем нетерпении вновь ощутить твои губы и мягкую ласку твоих слов? Так я любила тебя: теперь я могу сказать тебе это, когда все минуло и прошло. И я верю, если бы ты позвал меня с моего смертного одра, у меня явились бы силы встать и пойти за тобой.

У входа стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою милую близость и была так же опьянена, так же детски смущена, как при нашей первой встрече. Как я в первый раз, после более чем десятилетнего промежутка, поднялась опять по лест-

виде, — нет, нет я не могу тебе рассказать, как я в эти мгновения переживала все вдвойне — в прошлом и в настоящем, — и всем ощущала только тебя. В твоей комнате мало что изменилось: прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели, но в общем все показалось мне таким знакомым! А на письменном столе стояла ваза с розами — с моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе на память о той, кого ты все-таки не вспомнил, все-таки не узнал, даже теперь, когда она была возле тебя и ты соединял с ней уста и руки. Но все же мне было приятно, что ты заботился о цветах; в них тебя все-таки окружала частица моей души, дыхание моей любви.

Ты обнял меня. Снова я осталась у тебя на всю долгую ночь. Но и нагую ты не узнал меня. Счастливая, принимала я твои изощренные ласки и видела, что твоя страсть не знает разницы между любимой и купленной женщиной, что ты предаешься своим желаниям со всей беспечной расточительностью твоей натуры. Ты был так нежен и деликатен со мной, взятой из ночного ресторана, так благороден и сердечен, почтителен и, в то же время, так страстен в наслаждении женщиной, что я, пьяная от старого счастья, почувствовала опять эту двойственность твоего существа — твою одухотворенность в чувственной страсти, еще ребенком покорившую меня. Никогда не встречала я человека, который так пламенно отдавался бы во власть минуты, с такой яркостью проявлял бы сокровеннейшие недра своей души, чтобы затем, увы, угаснуть в какой-то бесконечной, почти неестественной забывчивости. Но и я забыла о себе; кто была я здесь в темноте, возле тебя? Была ли я та наивно влюбленная девочка, была ли я мать твоего ребенка, была ли я та незнакомка? Ах, все было так знакомо, уже пережито

и все же так уповательно ново в эту страстную ночь! И я молилась, чтобы ей не было конца.

Но настало утро; мы встали поздно, и ты пригласил меня остаться позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в столовой невидимой услужливой рукой, и болтали. Ты опять говорил со мной открыто и сердечно, избегая нескромных вопросов и не выпытывая, кто я такая. Ты не спрашивал ни имени моего, ни адреса, я была для тебя случайным приключением, чем-то безличным, жгучей минутой, бесследно исчезающей во мгле забвения. Ты рассказывал, что скоро предпримешь большое путешествие в северную Африку, на два или три месяца. Я вздрогнула среди своего счастья, потому что в ушах у меня уже звучало: «Прошло, прошло и забыто!». С какой радостью бросилась бы я перед тобой на колени и закричала: «Возьми меня с собой, тогда ты узнаешь меня, наконец, наконец, после стольких лет!». Но я так робела, так боялась, была такой слабой перед тобой! Я только пробормотала: «Как жаль!». Ты, улыбаясь, взглянул на меня: «Тебе, в самом деле, жаль?».

Тогда мной овладел внезапный порыв. Я встала и долго и твердо смотрела на тебя. Потом я сказала: «Человек, которого я любила, тоже постоянно уезжал». Я смотрела на тебя, в самую зеницу твоего глаза. «Теперь, теперь он узнает меня!»—стонало и дрожало в моей груди. Но ты улыбнулся мне и, утешая, сказал: «Из путешествий ведь возвращаются». «Да»,—ответила я,—«возвращаются, но успевают забыть». Была какая-то загадочная страстность в том, как я это сказала, потому что теперь встал и ты и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской. Ты взял меня за плечи. «Хорошее не забывается—тебя я не забуду»,—сказал ты, и при этом твой взор погрузился в глубину моих глаз, словно

ты старался запечатлеть в памяти мой образ. И, чувствуя, как превикает в меня этот ищущий взор, впитывающий в себя все мое существо, я подумала, что, наконец, наконец, пелена упадет с твоих глаз. «Он узнает меня, узнает меня!». Душа моя ликовала при этой мысли.

Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня, и никогда я не была более чужда тебе чем в этот миг, а то... а то, ты не сделал бы того, что ты сделал через несколько минут. Ты поцеловал меня, ты еще раз страстно целовал меня. Мне пришлось снова оправить растрепавшиеся волосы, и, когда я подошла к зеркалу и смотрела в него, я увидела — я чуть не упала от ужаса и стыда — я увидела, как ты тайком сунул в мою муфту две крупных бумажки. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, чтобы не ударить тебя в лицо — ты платил за эту ночь, мне, любившей тебя с детства и матери твоего ребенка! Я была для тебя только проституткой из Табарена, не больше — ты заплатил, заплатил за меня! Мало того, что я была забыта тобой, я должна была еще испытать унижение от тебя.

Я начала торопливо хватать свои вещи. Я хотела уйти, поскорей уйти. Мне было слишком больно. Я схватила шляпу, она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут меня охватило могучее, неудержимое желание; я хотела сделать еще одну попытку напомнить тебе о себе. «Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз?». «С удовольствием», — ответил ты и быстро вынул цветок. «Но, может быть, тебе подарила их женщина, — женщина, которая тебя любит?». «Возможно», — сказал ты, — «я не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их люблю». Я взглянула на тебя. «Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой!».

Ты изумленно посмотрел на меня. Я твердо встретила твой взгляд. «Узнай меня, узнай же меня, наконец!» — кричал мой взор. Но твои глаза светились лаской и неведением. Ты еще раз поцеловал меня. Но ты меня не узнал.

Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. В передней я столкнулась с твоим слугой Иоганном. Он проворно отскочил в сторону, услужливо открыл предо мною дверь, и в этот миг, ты слышишь? — в этот короткий миг, когда я заплаканными глазами поглядела на старика, в его глазах блеснул какой-то свет. В этот миг, ты слышишь? — в этот единый миг Иоганн узнал меня, ни разу не видев с детства. Я хотела стать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только вырвала из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня — в этот миг он, пожалуй, больше отгадал обо мне чем ты за всю твою жизнь. Все, все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты, только ты один забыл меня, только ты один ни разу не узнал меня!

\* \*  
\*

Мой ребенок умер; наш ребенок умер, и теперь у меня нет никого на всем свете, кого бы я любила, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, ни разу, ни разу не узнавший меня, проходящий мимо меня, как мимо пустого места, наступающий на меня, как на камень, живущий своей жизнью и заставляющий меня без конца ждать? Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке. Но это был твой ребенок: он жестоко поки-

нул меня и отправился в путешествие; он забыл меня и больше не вернется. Я опять одинока, более одинока чем когда-либо. У меня ничего нет, ничего нет от тебя, ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти и, если кто-нибудь произнес бы при тебе мое имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя, почему не уйти, раз ты ушел от меня. Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу бросить свое горе в твой озаренный радостью дом. Не бойся, что я стану надоедать тебе; прости мне, я должна была выплакать свою душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была поговорить с тобой — потом я опять уйду во мрак и буду молчать, как я всегда молчала возле тебя. Но ты не услышишь этого крика, пока я жива — только, когда я умру, получишь ты это мое завещание, завещание женщины, любившей тебя, больше чем все другие, и которой ты никогда не узнал, всегда ожидавшей тебя, и которую ты не позвал. Может быть, может быть, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз буду непослушна тебе: я не услышу тебя из своей могилы. Я не оставлю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил; никогда ты не узнаешь меня, никогда. Такова была моя судьба при жизни, пусть будет так и теперь, когда я умираю. Я не хочу звать тебя в мой последний час. Я ухожу, и ты не знаешь ни моего имени, ни моего внешнего облика. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть.

Я не могу больше писать... у меня такая тяжесть в голове... все тело ломит, у меня жар... кажется, мне придется сейчас лечь. Может быть, это скоро пройдет, а может быть, судьба на этот раз сжалится надо мной,

и мне не придется видеть, как унесут мое дитя... Я больше не могу писать... Прощай, любимый, прощай, благодарю тебя... Все, что было, было хорошо; несмотря ни на что... я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо — я сказала тебе все, ты теперь знаешь, вернее, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и, в то же время, эта любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет доставать меня, — это меня утешает. Ничто не изменится в твоей красивой, светлой жизни... я не омрачу ее своей смертью... это утешает меня, мой любимый.

Но кто... кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза будет пуста, легкое дуновение моей жизни, раз в год залетавшее в твою жизнь, развеется и оно! Любимый, послушай, я прошу тебя... это моя: первая и последняя просьба к тебе... исполни это ради меня: каждый раз, в день твоего рождения — ведь это день, когда думают о себе — бери розы и ставь их в вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году отслуживают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в бога и не хочу панихид, я верю только в тебя, я люблю только тебя и жить еще хочу только в тебе... ах, только один день в году, тихо-тихо, как я жила возле тебя... Я прошу тебя, исполни это, любимый... это моя первая просьба к тебе и последняя... я благодарю тебя... я люблю тебя, я люблю тебя... прощай...

\* \*  
\*

Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом он долго думал. Смутные воспоминания вставали в нем о ребенке соседей, о девушке, о женщине в ночном ресторане, но

воспоминания неясные, расплывчатые, как мерцание камня, видимого сквозь воду на дне реки. Беспреданно набегали тени и мешали сложиться отчетливому образу. В его чувствах оживали воспоминания, но он все-таки не мог вспомнить. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Тут его взор упал на голубую вазу, на письменном столе перед ним. Она была пуста, в первый раз за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул, ему показалось, что невидимо распахнулась дверь и холодный ветер повеял из другого мира в его спокойную комнату. Он чувствовал дыхание смерти и дыхание бессмертной любви; что-то раскрывалось в его душе, и он думал о незримой, как о чем-то бестелесном, как об отдаленной, страстной музыке.



# **УЛИЦА В ЛУННОМ СВЕТЕ**

**ПЕРЕВОД И. Б. МАНДЕЛЬШТАМА**



Корабль, задержанный бурей, только поздно вечером бросил якорь в маленькой французской гавани, — ночной поезд в Германию уже ушел. Предстояло, таким образом, провести лишний день в незнакомом месте, а вечер не сулил никаких удовольствий, кроме меланхолической музыки дамского оркестра в каком-нибудь загородном увеселительном заведении или скучной беседы с совершенно случайными спутниками. Невыносимым показался мне чадный, сизый от дыма воздух в маленьком ресторане гостиницы, духоту которого я ощущал тем сильнее, что на губах у меня еще соленым холодком лежало чистое дыхание моря. Я пошел, поэтому, наудачу, вдоль широкой светлой улицы, по направлению к площади, где играл оркестр гражданской гвардии, а оттуда — еще дальше, посреди спокойно струящегося потока гуляющих людей. В начале мне было приятно так безвольно покачиваться на волнах равнодушной, по-провинциальному разодетой толпы, но все же мне вскоре стали несносны эта близость чужих людей, их обрывистый смех, эти глаза, которые останавливались на мне с удивлением, отчужденностью или усмешкой, эти прикосновения, незаметно толкавшие меня вперед, этот из тысячи крохотных источников проливающийся свет и непрерывное шуршание шагов. Плавание было бурным, и в крови у меня еще бродило сладостное чувство бреда и дурмана; все еще под ногами

ощущались качка и скольжение, земля словно дышала и приподнималась, а улица как бы взвивалась к небу. Голова у меня вдруг закружилась от этого громкого жужжания, и, чтобы спастись, я свернул в переулок, не поглядев, как он называется, с него — в другой, поуже, где постепенно стал замирать этот бессмысленный гам, и пустился затем бесцельно блуждать по лабиринту этих разветвленных, как жилы, улиц, становившихся все темнее по мере того как я удалялся от главной площади. Большие дуговые фонари, эти луны широких бульваров, здесь уже не горели, и скудное освещение позволяло, наконец, опять увидеть звезды на черном, облачном небе.

Я находился, повидимому, недалеко от гавани, в матросском квартале; это чувствовалось по гнилостному запаху рыбы, по тому сладковатому аромату гления, какой сохраняют водоросли, выброшенные прибоем на побережье, по тому присущему затхлым помещениям смраду, который чадно ложится на эти углы, пока сильная буря не опахнет их своим дыханием. Мне были по душе полумрак и это неожиданное одиночество, я замедлил шаги, осматривал одну улицу за другою, — и ни одна из них не была похожа на свою соседку: одни были миролюбивы, другие — разгульны, но все погружены в тьму и наполнены глухим шумом голосов и музыки, струившихся так таинственно из незримого, из груди их сводов, что почти нельзя было угадать их подземного источника; ибо все окна были заперты и только мигали красным или желтым светом.

Я люблю эти улицы в чужих городах, этот грязный рынок всех страстей, тайное нагромождение всех соблазнов для моряков, которые, после одиноких ночей на чужих и опасных морях, заходят сюда на одну ночь, чтобы в течение часа осуществить свои долгие, похотливые мечтания. Они должны прятаться где-нибудь в нижней части

большого города, эти маленькие переулки, ибо нагло и назойливо говорят то, что за сотнями масок скрывают светлые дома с зеркальными окнами и знатными обитателями. Музыка звучит здесь и манит из маленьких лавчонок, кинематографы обещают кричащими своими плакатами неслыханное великолепие, четырехгранные фонарики, приютившись под воротами, подмигивают приветливо, и приглашающе, сквозь приоткрытые двери, мелькает голая плоть под позолоченной мишурой. Из кофеен доносятся пьяные голоса и крики ссорящихся игроков. Матросы ухмыляются, когда встречаются здесь друг друга, их тупые взгляды горят от предвкушения, потому что тут сосредоточено все: зрелище, женщины, игра, вино и приключения, грязные и великие. Но все это робко и все же предательски притаилось за лицемерно опущенными ставнями, все находится внутри, и эта кажущаяся замкнутость возбуждает двойным соблазном скрытости и доступности. Улицы эти — одни и те же в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаванне, так же похожи друг на друга, как роскошные проспекты в этих городах, потому что в жизни верхи и низы имеют одинаковую форму. Последние фантастические остатки хаотически-чувственного мира, где инстинкты разряжаются грубо и необузданно; темные дебри страстей, кишачие похотливым зверьем, — таковы эти отверженные улицы, возбуждающие тем, что в них сквозит, и прельщающие тем, что в них таится. О них можно грезить.

Такою была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. Наудачу пошел я следом за двумя кирасирами, чьи сабли бряцали по неровной мостовой. Из одного бара их окликнули женщины, они рассмеялись и ответили грубыми шутками, один из них постучал в окно, потом где-то раздалась брань, они пошли дальше, смех разда-

вадся глуше и, наконец, замер совсем. Опять улица стала безмолвной, несколько окон неясно поблескивали в туманном свете матовой луны. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне странной, потому что за нею что-то жужжало вроде тайны, сладострастия и опасности. Явственно ощущал я, что эта тишина — ложь и что под тусклым чадом этой улицы тлеет какое-то гнилье мира. Но я стоял, не двигался и прислушивался к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени; ощущал только, что я здесь чужой, что чудесно растворен в неведомом, что нет у меня ни какого-либо намерения, ни миссии, ни связи с этою темною жизнью вокруг меня, и все же я воспринимал ее в такой же полноте, как свою кровь под кожей. Только такое чувство было у меня: будто ничто не происходит ради меня, и тем не менее все принадлежит мне, — блаженнейшее чувство необычайно глубокого, вследствие безучастности, и необычайно искреннего переживания; чувство, присущее живым источникам моего существа и всегда пронизывающее меня упоением в незнакомой среде. И вдруг, в то время как я, прислушиваясь, стоял на пустынной улице, как бы в ожидании чего-то, что должно произойти, чего-то, что выведет меня из этого лунатического подслушивания в пустоте, до меня издали, заглушенно, как сквозь стену, донеслась очень смутно немецкая песня, бесхитростный хоровод из «Волшебного стрелка»: «Schöner, grüner Jungfernkranz». Это пел женский голос, очень плохо; но все же это была немецкая мелодия, немецкая — здесь, в каком-то чужом закоулке мира, и поэтому братская в каком-то особенном смысле этого слова. Песня доносилась неизвестно откуда, но для меня она звучала как бы приветом, первым, после многих недель, приветом родины. Кто говорит здесь на моем языке, —

спросил я себя,—кого в этом пустынном закоулке воспоминание влечет оживить в душе этот бедный напев? Дом за домом ошупывал мой слух в ряду тех, что стояли здесь в полусне, с закрытыми ставнями, но за которыми предательски мелькали огни, а иногда манящая рука. Снаружи висели крикливые надписи, яркие плакаты, и притаившийся бар сулил здесь прохожим виски, пиво, эль, но все было запертò, все возбраняло вход и вместе с тем приглашало. Шаги одиноких прохожих раздавались вдали, а голос не переставал звучать, громче пуская трели припева и все приближаясь. Наконец, я нашел этот дом. Немного поколебавшись, я подошел к двери в воротах, густо занавешенной белыми шторами. Но в этот миг что-то во мраке ворот оживилось: какая-то фигура, которая притаилась там, прижавшись к стеклу, испуганно встрепенулась,—лицо, залитое красным светом фонаря над воротами и все же бледное от ужаса, лицо мужчины, который вытаращил на меня глаза, пробормотал что-то вроде извинения и исчез в полумраке улицы. Странный был у него вид. Я посмотрел ему вслед. Ускользавший силуэт его был еще неясно виден. Изнутри продолжал доноситься голос, даже еще громче, как мне показалось. Это влекло меня. Я нажал на дверную щеколду и быстро вошел.

Песня оборвалась, точно отрезанная ножом. И я в испуге почувствовал перед собою пустоту, враждебное молчание, как будто я что-то вдребезги разбил. Постепенно только взгляд мой освоился с обстановкой почти пустой комнаты. Она состояла из буфетной стойки и стола. Все это служило, несомненно, только преддверием к другим комнатам, назначение которых легко было угадать по приспущенному свету ламп и приготовленным постелям, видневшимся сквозь приоткрытые створки. Перед стойкой, облокотившись на нее, стояла покрашен-

ная и утомленная девица, за стойкою — хозяйка, тучная с лицом землистого цвета, и еще одна, довольно милоридная девушка. Мои слова приветствия упали камнем в пространство, только после паузы послышалось раздраженное эхо. Мне жутко было оказаться в такой пустоте, в таком напряженном, пустынном, молчании, и я охотно повернул бы обратно, но, смутясь, не находил для этого предлога, а поэтому примиренно уселся за стол. Девушка, вспомнив о своих обязанностях, спросила меня, что угодно мне выпить, и, по ее твердому французскому произношению, я сразу угадал в ней немку. Я заказал пива. Она ушла и вернулась вялой походкой, в которой еще яснее сквозило равнодушие чем в тусклом выражении глаз, лениво мерцавших под веками, как угасающие свечи. Совершенно машинально, по обычаю подобных заведений, поставила она, рядом с моим стаканом, второй для себя. Взгляд ее, когда она чокнулась со мной, тускло скользнул мимо меня: я имел возможность рассмотреть ее. Лицо ее было, в сущности, еще красивое и правильное, но словно от душевного измождения сделалось вульгарным и похожим на маску; все в нем было вяло, веки — тяжелы, волосы — плоски; щеки, с пятнами дешевых румян, начинали уже опускаться широкими складками ко рту и отекать. Платье тоже было небрежно напялено, голос — синопый от дыма и пива. Во всем чувствовался человек усталый и продолжающий жить только по привычке, как бы бесчувственно. В смущении, испытывая тошноту, я бросил какой-то вопрос. Она ответила, не глядя на меня, равнодушно и тупо, еле шевеля губами. Ясно было, что мое присутствие стеснительно. Хозяйка зевала, другая девушка сидела в углу и глядела так, словно ждала, чтобы я ее тоже подозвал. Я рад был бы уйти, но все во мне отяжелело, и сидел я в этом насыщенном, спиртом воздухе,

тупо покачиваясь, как матросы, прикованный к месту любопытством и омерзением, — потому что в этом безразличии было нечто возбуждающее.

И вдруг я вздрогнул, испуганный резким хохотом сидевшей подле меня женщины. И в то же время лампа замигала: по сквозняку я понял, что за моей спиной приоткрылась дверь.

— Опять пришел? — насмешливо и резко крикнула она по-немецки. — Опять уже бродишь около дома, ты, сквалдыга? Ну, да уж входи, я тебе ничего не сделаю.

Я повернулся порывисто, сначала — к ней, так пронзительно крикнувшей эти слова, точно у нее пламя вырвалось из тела, а потом к входной двери. И еще не успела она открыться как я узнал пошатывающуюся фигуру, узнал смиренный взгляд этого человека, который раньше словно прилипал к дверям. Он робко держал шляпу в руке, как нищий, и дрожал от резких слов, от смеха, который сотрясал тяжелую фигуру женщины и которому вторила хозяйка за стойкой торопливым шопотом.

— Туда садись, к Франсуазе, — приказала она бедняге, когда он, крадучись, трусливо ступил на шаг вперед. — Видишь, у меня гость.

Она крикнула это по-немецки. Хозяйка и девушка громко рассмеялись, хотя понять ничего не могли, но посетитель был им, повидимому, знаком.

— Дай ему шампанского, Франсуаза, бутылку того, что подороже, — со смехом воскликнула она и опять обратилась насмешливо к нему:

— Коли оно тебе дорого, оставайся за дверьми, скряга несчастный. Хотелось бы тебе, небось, бесплатно глазеть на меня, я знаю, все тебе хочется иметь бесплатно.

Длинная фигура съежилась от этого злого смеха, криво выдвинулся горб; казалось, что вошедший хочет куда-нибудь запрятать лицо, и рука у него дрожала, когда он взялся за бутылку, и проливала вино. Он все хотел поднять на женщину глаза, но не мог оторвать их от пола, и они бродили по кафельным плитам. Теперь только я разглядел отчетливо, при свете лампы, это истощенное, бледное, помятое лицо, влажные и жидкие волосы на костистом черепе, дряблые и точно надломленные суставы, убожество, лишенное силы, но все же не чуждое какой-то злости. Искривленно, сдвинуто было в нем все и пригнетено, и взгляд, который он вдруг метнул и тотчас же опять отвел в испуге, озарился злым светом.

— Вы на него не обращайтесь внимания, — резко сказала мне девица по-французски и ухватила меня за руку, точно хотела рвануть меня к себе. — У меня с ним старые счеты, не со вчерашнего дня.

И опять крикнула ему, обнажив зубы, точно для укуса:

— Подслушивай, подслушивай, старая ехидна! Хочешь знать, что я говорю? Говорю, что скорее в море кинусь, чем к тебе пойду.

Снова рассмеялись хозяйка и другая девушка, тупо ослабившись. Казалось, это была для них обычная забава, повседневное развлечение. Но мне стало жутко, когда я увидел, как другая девушка вдруг прильнула к нему с напускной нежностью и начала приставать с любезностями, от которых он содрогался в ужасе, не решаясь их отклонить, и я пугался, когда его блуждающий взгляд в робком смятении, подобострастно останавливался на мне. И ужас вселяла в меня женщина, сидевшая рядом, очнувшаяся вдруг от своей вялости и сверкавшая такой злобой, что у нее дрожали руки. Я бросил деньги на стол и хотел уйти, но она их не взяла.

— Если он мешает тебе, я его выброшу вон, собаку. Он должен хвост поджать. Выпей-ка еще стакан со мною. Иди сюда.

Она прижалась ко мне в неожиданном, фанатическом порыве нежности, которую напустила на себя, — в этом нельзя было сомневаться, — только чтобы мучить другого. При каждом движении она поглядывала в его сторону, и мне противно было видеть, как он вздрагивал от всякого ее жеста, обращенного ко мне, точно от прикосновения раскаленной стали. Не обращая на нее внимания, я следил только за ним и трепетал, наблюдав, как в нем росло что-то вроде ярости, гнева, алчности и зависти, и сразу же съеживалось, чуть только она поворачивала к нему голову. Теперь она вплотную прильнула ко мне, я чувствовал ее тело, дрожавшее от злорадного наслаждения игрою, и меня мерзило от ее яркого, пахнувшего дешевой пудрой лица, от дурного запаха ее дряблого тела. Чтобы отдалить ее от своего лица, я достал сигару и, когда я начал искать глазами спичек на столе, она уже властно крикнула ему:

— Дай закурить!

Я испугался, еще больше чем он, его услуг и порывисто схватился за карман в поисках спичек; но подхлестнутый ее словами, как бичом, он уже подошел ко мне своею кривою, шаткой поступью и быстро, словно мог обжечься от прикосновения к столу, положил на него свою спичечную коробку. На мгновение наши взгляды скрестились: бесконечный стыд выражался в его глазах и скрежещущее ожесточение. И этот порабощенный взгляд поразил во мне мужчину, брата. Я почувствовал, что он унижен женщиной, и стыдился вместе с ним.

— Очень вам благодарен, — сказал я по-немецки — она встрепенулась, — напрасно беспокоились. — И я подал ему

руку. Долгое колебание — потом я ощутил влажные, костистые пальцы и вдруг — судорожное, благодарное пожатие. На протяжении секунды его глаза струили свет в мои, потом опять скрылись под веками. Из упрямства я хотел попросить его присесть к нам, и, должно быть, приглашающий жест уже скользнул в мою руку, потому что она торопливо прикрикнула на него:

— Ступай в свой угол и не мешай нам!

Тут меня вдруг охватило отвращение к ее хриплому голосу и этому мучительству. Для чего нужны мне этот закопченный вертеп, эта противная проститутка, этот слабоумный, чад пива, дыма и дешевых духов? Меня потянуло на воздух. Я сунул ей деньги, встал и энергично высвободился, когда она ласково меня обняла. Мне было тошно соучаствовать в этом унижении человека, и мой решительный отпор ясно ей показал, как она мало прельщает меня физически. Тогда в ней вспыхнула злоба, вокруг рта очертилась пошлая складка, но все же она не решалась разразиться бранью и вдруг, в порыве непритворной ненависти, повернулась к нему. Он же, ожидая от нее чего угодно, торопливо и словно подстегиваемый ее угрозой, выхватил из кармана дрожащими пальцами кошелек. Он боялся оставаться с нею наедине, теперь это было очевидно, и впопыхах не мог распутать узел кошелька — это был вышитый, униженный стекляшками кошелек, какие носят крестьяне и простолюдины. Легко было заметить, что у него не было привычки быстро давать деньги, в противоположность матросам, которые достают их пригоршнями из побрякивающих карманов и швыряют на стол; он, повидимому, знал деньгам счет и приучен был взвешивать монеты в пальцах.

— Как он дрожит за свои милые, хорошие денежки! Не идет дело? Погоди-ка! — глумилась она и приблизилась.

лась на шаг. Он отшатнулся, и она сказала, при виде его испуга, пожав плечами и с неопишным омерзением во взгляде: — Я у тебя ничего не возьму, плевать мне на твои деньги. Знаю, все они у тебя на счету, твои славные деньжата. Но только, — она его неожиданно похлопала по груди, — как бы кто не украл у тебя бумажек, зашитых тут.

И вправду, как больной сердцем хватается вдруг судорожно за грудь, так он приложил свою бледную и дрожащую руку к одному месту на пиджаке; невольно пальцы его ощутили там припрятанное гнездо и потом, успокоившись, упали.

— Скарред! — выплюнула она.

Но тут вдруг жар залил лицо мученика, он бросил с размаха кошелек другой девушке, которая крикнула от испуга, а затем расхохоталась, — и ринулся мимо нее в дверь, точно спасаясь от пожара.

Еще мгновение она стояла, выпрямившись, ярко сверкая от злой своей ярости. Потом опять опустились вяло веки, усталость согнула напряженное тело. Старой и утомленной сделалась она в одну минуту. Какая-то растерянность омрачила взгляд ее, остановившийся на мне в этот миг. Как пьяная, очнувшаяся от дурмана, со смутным чувством стыда, стояла она передо мною.

— На улице он будет хныкать, оплакивать свои деньги, еще побегит, чего доброго, в полицию, скажет, что мы его обобрали. А завтра появится опять. Но я ему все-таки не достанусь. Всем, только не ему.

Она подошла к стойке, бросила на нее монеты и залпом выпила рюмку водки. Злой свет опять загорелся у нее в глазах, но тускло, точно сквозь слезы ярости и стыда. Отвращение к ней овладело мною и уничтожило во мне сострадание.

— До свиданья! — сказал я и вышел.

— Bonsoir, — ответила хозяйка. Женщина не оглянулась и только смеялась, хрипло и насмешливо.

Улица, когда я вышел из дома, была только ночью и небом, сплошною душною мглой в затуманенном, бесконечно далеком лунном свете. Жадно вдохнул я теплый, но все же крепкий воздух; омерзение растворилось в великом изумлении перед тем, как различны судьбы людские, и снова я ощущал, — это чувство способно делать меня блаженным до слез, — что за каждым окном всегда подстерегает кого-то судьба, каждая дверь открывается для каких-то событий; что вездесуще многообразие жизни, и даже грязнейший угол так кишит уже оформившимися переживаниями, как тление плоти — усердными червями. Гнусная сторона происшествия позабылась, и напряжение перешло в приятную, сладостную усталость, стремившуюся преобразить все пережитое в более привлекательный сон. Я невольно осмотрелся, чтобы найти дорогу домой в этом запутанном клубке переулков. В это время — повидимому, бесшумно подкравшись ко мне — какая-то тень выросла передо мною.

— Простите, — я сразу узнал этот смиренный голос, — но мне кажется, вы заблудились. Не разрешите ли... Не разрешите ли показать вам дорогу? Вы где изволите жить?...

Я назвал свою гостиницу.

— Я провожу вас... если позволите, — тотчас же прибавил он смиренным тоном.

Опять меня охватила тошнота. Эта крадущаяся, призрачная походка, почти неслышная и все же неотступная, во мраке матросской улицы, вытеснила постепенно воспоминание о пережитом, заменив его каким-то безотчетным смятением. Я чувствовал смиренное выражение его глаз, не видя их, и замечал подергивание его губ; я знал, что

он хочет со мною говорить, но ничего не делал ни для, ни против этого, подчиняясь своему неуравновешенному состоянию, в котором любопытство сердца дурманяще сочеталось с телесным недомоганием. Он несколько раз покашливал, я замечал его подавляемые попытки заговорить, но какая-то жестокость, таинственным образом передавшаяся мне от этой женщины, радовалась происходившей в нем борьбе между стыдом и душевным порывом: я не помогал ему, предоставляя этому молчанию черной массой тяготеть между нами. И вразброд звучали наши шаги, его — скользящие, стариковские, мои — нарочито гулкие и энергичные в стремлении уйти от этого грязного мира. Все сильнее чувствовал я напряжение, возникающее между нами: пронзительным, исполненным внутреннего крика было это молчание и уже уподобилось непомерно натянутой струне, когда он его, наконец, нарушил — с какою отчаянной робостью — первыми словами:

— Вы были там... вы были... сударь... свидетелем необыкновенной сцены... Простите... Простите, что я к ней возвращаюсь, но она должна была показаться вам необыкновенной... а я — очень смешным... эта женщина... она, видите ли...

Он опять запнулся. Что-то стояло у него комом в горле. Потом голос у него совсем упал, и он порывисто пролепетал:

— Эта женщина... она моя жена.

Я, вероятно, вздрогнул от удивления; потому что он продолжал порывисто говорить, словно хотел оправдаться:

— То-есть... она была моей женой... Пять лет тому назад... В Гессене, в Герацхайме, я оттуда родом... Я не хотел бы, сударь, чтобы вы были о ней дурного мнения... Это, может быть, моя вина, что она такая... Она такую не всегда была... Я... я мучил ее... Я взял ее, хотя

она была очень бедна, даже белья у нее не было, ничего, решительно ничего... а я богат... то-есть состоятелен... не богат... или, во всяком случае, в ту пору у меня были деньги... и знаете ли, сударь, я, может быть, и вправду был — она права — бережлив... но это было раньше, до несчастья, и я себя за это проклинаяю... Но и отец мой был бережлив, и мать, все... И мне каждый грош доставался с большим трудом... а она была легкомыслена, любила красивые вещи... и при этом была бедна, и я постоянно попрекал ее этим... Мне не следовало так поступать, теперь я это знаю, сударь, потому что она горда, очень горда... Вы не думайте, что она такая, какую притворяется... Это неправда, и она сама себя этим терзает... только... только для того, чтобы меня терзать... и... потому что... потому что ей стыдно... Может быть, она и вправду испортилась, но я... я этому не верю... потому что, сударь, она была хорошей, очень хорошей.

Он вытер глаза и остановился от чрезмерного волнения. Невольно я взглянул на него, и вдруг он перестал казаться мне смешным, и даже это странное, угодливое обращение «сударь», которым пользуются в Германии только низшие классы населения, не коробило меня больше. Лицо его выражало страшные муки слова, и когда он, с трудом пошатываясь, пошел дальше, то глазами тупо уставился в камни мостовой, как будто на них читал в мерцающем свете то, что так мучительно вырывалось из его стиснутой гортани.

— Да, сударь, — сказал он, глубоко переводя дыхание и совсем другим, матовым голосом, исходившим как бы из более мягкой сферы его души: — Она была добра... добра и ко мне, была очень благодарна за то, что я ее спас от нищеты... и я знал, что она была благодарна..

но... я... хотел это слышать... Опять и опять... мне было приятно слышать эту благодарность... сударь, это было так бесконечно приятно ощущать... ощущать, что я хороший человек... когда... когда ведь я знал, что я человек плохой... Я отдал бы все свои деньги за то, чтобы это постоянно слышать... А она была очень горда и все сильнее упиралась, замечая, что я требовал этой благодарности... Поэтому... Только поэтому, сударь, заставлял я ее всегда просить... Никогда не давал добровольно... мне приятно было, что из-за каждого платья, из-за каждой ленты ей приходилось подходить и попрошайничать... Три года я так ее мучил, и все сильнее... Но я это делал, сударь, только потому, что любил ее... Мне нравилась ее гордость, и все же всегда хотелось ее усмирять... Я был помешанным человеком... и когда она чего-нибудь желала, я сердился... Но это было, сударь, притворством... для меня была блаженством каждая возможность ее унижать, потому что я совсем не знал, как любил ее...

Опять он запнулся. Шел он, сильно пошатываясь. Обо мне, повидимому, совсем забыл. Говорил машинально как во сне, и голос у него становился все громче.

— Это... это я узнал тогда лишь, когда... в этот проклятый день... отказал ей в деньгах для ее матери, в совсем ничтожной сумме... то-есть, я уже приготовил их, но хотел, чтобы она пришла еще раз... еще раз попросила... да, что я сказал?... да, тогда я это понял, когда вернулся домой, а ее не было, только записка на столе... Оставайся при своих проклятых деньгах, мне больше ничего не надо от тебя... вот, что было написано, больше ничего... Сударь, я три дня, три ночи безумствовал. Велем обыскать лес и реку, переплатил уйму денег полиции... бежал по всем соседям, но они только

смеялся и глумился... Никаких следов не удалось найти, никаких... Наконец, один сказал мне, из соседней деревни... что видел ее... на вокзале с каким-то солдатом... она уехала в Берлин... в тот же день и я туда поехал... бросил свою службу... потерял много денег... меня обокрали, мои работники, мой управляющий, все, все... Но, клянусь вам, сударь, я был к этому равнодушен... Я провел неделю в Берлине, прежде чем разыскал ее в этом людском водовороте... и пошел к ней...

Он тяжело дышал.

— Сударь, клянусь вам... ни одного сурового слова не сказал я ей... я плакал... стоял на коленях... предлагал ей деньги... все свое состояние и право распоряжаться им, потому что тогда, я это уже знал... я не могу жить без нее. Я люблю каждый волос ее... ее рот... ее тело, все, все... и ведь это я, один я столкнул ее... Она побледнела, как смерть, когда я неожиданно вошел... я подкупил ее хозяйку, сводню, гадкую, низкую женщину... она была, как мел, бледна... Выслушала меня. Сударь, мне кажется, она была... да, она была почти рада, что видит меня... Но когда я заговорил о деньгах... а ведь сделал я это только для того, чтобы показать ей, что больше не думаю о них... то она плюнула... и потом... так как я все еще не хотел уходить... позвала своего любовника, они надо мною глумились... Но я, сударь, продолжал туда ходить каждый день. Жильцы того дома рассказывали мне все, я узнал, что этот негодяй ее бросил и что она находится в нужде, и тогда я пошел еще раз к ней... еще раз, сударь, но она набросилась на меня и разорвала деньги, которые я украдкой положил на стол, а когда я все-таки опять пришел, она исчезла... Чего только не предпринимал

я, сударь, чтобы, отыскать ее снова! В течение года, клянусь вам, я не жил, только искал, содержал агентов, пока не узнал, наконец, что она за морем, в Аргентине... в одном... в одном дурном доме...

Он загнулся на мгновение. Последние слова были словно хрипом. И темнее сделался голос.

— Я очень испугался... сперва... но потом сообразил, что по моей, только по моей вине она до этого дошла... И я подумал, как сильно должна она, бедная, страдать... Ибо горда она прежде всего... Я пошел к своему поверенному, тот написал в консульство и послал деньги... не указав, от кого... лишь бы только она вернулась. Мне телеграфировали, что все удалось... я знал корабль... и поджидал его в Амстердаме... Приехал за три дня, так я горел от нетерпения... Наконец, он прибыл, я испытал блаженство, едва лишь дымок парохода показался на горизонте, и думал, что у меня не хватит сил дожждаться, пока он причалит, так медленно, медленно, и потом пассажиры начали спускаться по сходням, и наконец, она, она... Я ее не сразу узнал... Она была другая... накрашенная... и уже такая... такая, какую вы ее видели... И когда она меня заметила, то побледнела... Два матроса должны были ее поддержать, иначе она упала бы в воду... Чуть только она ступила на берег, я подошел к ней... Я не говорил ничего... Горло было сжато... Она тоже ничего не говорила... и не смотрела на меня... Носильщик пошел вперед с багажом, мы шли и шли... Вдруг она остановилась и сказала... Сударь, как она это сказала... так мучительно больно мне сделалось, так печально это прозвучало... «Ты все еще согласен быть моим мужем? Еще и теперь?»... Я взял ее руку... Она вздрогнула, но не сказала ничего. Но я чувствовал, что теперь все

опять заглажено... Сударь, как счастлив я был! Я плясал вокруг нее, как ребенок, когда мы вошли в комнату, я упал к ее ногам... Говорил глупости, должно быть... потому что она улыбалась сквозь слезы и ласкала меня... очень робко, разумеется... но, сударь... каким это было для меня блаженством... сердце мое таяло... Я стал бегать по лестницам вверх, вниз, заказал обед в гостинице... по случаю нашего примирения... помог ей одеться... и мы сошли в ресторан, ели и пили, и были веселы... О, как она веселилась, точно ребенок, какою была сердечной и доброй, и она говорила о нашем доме... и как мы теперь опять заживем... тут...

Голос его вдруг зазвучал сипло, и он сделал рукою движение, словно хотел кого-то сокрушить...

— Тут... стоял один официант... скверный, низкий человек... Он подумал, что я пьян, потому что я безумствовал, и плясал, и валялся со стула от смеха... между тем как я только был счастлив... о, так счастлив... и вот... когда я заплатил, он дал мне на двадцать франков меньше сдачи... Я на него накричал и потребовал остальное... Он смутился и положил золотую монету на стол... Тогда... тогда она вдруг резко расхохоталась... Я вытаращил на нее глаза, но это было другое лицо... сразу оно стало глумливым, черствым и злым... «Какой ты все еще точный... даже в день нашего примирения!», сказала она так холодно, так резко... так жалостливо... я испугался и проклинал свою мелочность... старался опять развеселиться... Но ее веселье исчезло... умерло... Она потребовала отдельную комнату себе... чего бы я ни сделал для нее... и я лежал ночью один и думал только о том, что бы ей купить на следующее утро... как бы ее задарить... показать ей, что я не скуп... никогда по отношению к ней скупиться не буду. И на утро я вышел

из гостиницы, купил ей браслет, рано утром, и когда вошел к ней в комнату... комната была пуста... совсем, как в тот раз. И я знал, на столе должна быть записка... Я убежал и взмолился к богу, чтобы это оказалось неправдой... но... но... записка все-таки оказалась на столе... И я прочел...

Он зашнурлся. Я невольно остановился и смотрел на него. Он понурил голову. Потом хрипло прошептал:

— Я прочел... «Оставь меня в покое. Ты мне противен...».

Мы пришли в гавань, и вдруг в тишине зашумело гневное дыхание надвигавшегося прибоя. С горящими глазами, как большие черные звери, лежали там корабли, одни вблизи, другие далеко, и откуда-то доносилась песня. Все было неразлично, и все же многое чувствовалось, чудовищный сон и тяжелые грезы города... Рядом с собою я ощущал тень этого человека, она призрачно подергивалась у меня перед ногами, то растекаясь, то стягиваясь в блуждающем свете тусклых фонарей... Я не находил никаких слов, ни в утешение, ни в виде вопроса, но молчание его словно прилипало ко мне, давило меня неясною тяжестью. Вдруг он ухватил меня трепетно за руку.

— Но я не уеду отсюда без нее... Спустя несколько месяцев я опять ее разыскал... Она меня терзает, но я не потеряю сил... Я заклинаю вас, сударь, поговорите с нею... Она должна быть моею, скажите ей это... меня она не слушает... Я больше так жить не могу... Я не могу больше видеть, как мужчины приходят к ней... и ждать снаружи перед домом, пока они выйдут опять... пьяные, веселые... Вся улица уже знает меня... они смеются, когда видят меня на дозоре... я от этого схожу с ума... и все же каждый вечер опять прихожу и стою... Сударь, заклинаю вас... поговорите с нею... Я ведь не

знаю вас, но сделайте это во имя милосердного бога... поговорите с нею ..

Я невольно постарался высвободить свою руку. Мне было страшно. Но когда он почувствовал, что я отгораживаюсь от его горя, то упал вдруг посреди улицы на колени и обхватил мои ноги.

— Я заклинаю вас, сударь... Вы должны с нею поговорить... Вы должны... иначе... иначе случится нечто страшное... Я истратил все свои деньги, разыскивая ее, и здесь ее не оставлю... живую не оставлю... Я купил себе нож... У меня есть, сударь, нож... Я ее не оставлю тут... живую... Я не выпесу этого... Поговорите с нею, сударь...

Он корчился передо мною в неистовстве. В этот миг двое полицейских проходили по улице. Я его насильно поднял. С минуту он смотрел на меня оторопело. Потом сказал совсем другим, сухим голосом:

— Сверните по этой улице налево. Там ваша гостиница.

Еще раз уставился он на меня глазами, в которых зрачки словно расплавились в чем-то ужасающе белом и пустом. Потом исчез.

Я закутался в свой плащ. Меня знобило. Только усталость чувствовал я, дурман, бесчувственный и черный, — блуждающий, багряный сон. Я хотел собраться с мыслями и все это обдумать, но всякий раз во мне поднималась и уносила меня эта черная волна утомления. Я добрал до гостиницы, свалился на кровать и заснул, тупо, как животное.

На следующее утро я уже не знал, что было явью в пережитом, что сном, и во мне что-то противилось тому, чтобы в этом разобраться. Проснулся я поздно, чужой в чужом городе, и пошел осмотреть одну церковь, которая славится древней мозаикой. Глаза мои не воспринимали

того, что видели, все ярственнее вспоминалась в стрелу минувшей ночи, и меня непреодолимо повлекло в тот переулок, к тому дому. Но эти страшные улицы живут только по ночам, днем они носят серые, холодные маски, под которыми узнать их может только посвященный. Я не нашел этого переулочка. Усталый и разочарованный вернулся я домой, преследуемый образами бреда или воспоминаний.

В девять часов вечера уходил мой поезд. С грустью покидал я город. Носильщик поднял на плечи мой багаж и, шагая передо мной, понес его к вокзалу. И вдруг, на одном перекрестке, какая-то сила заставила меня повернуться; я узнал поперечную улицу, ведущую к тому дому, велел носильщику подождать и пошел, — между тем как он улыбался с изумлением сначала, а потом с наглою фамильярностью, — еще раз взглянуть на этот страшный переулок.

Было темно, темно, как вчера, и в тусклом свете луны поблескивали дверные стекла того дома. Еще раз хотел я подойти поближе, в это время вынырнула из мрака фигура. С ужасом узнал я того, кто стоял на пороге и делал мне знаки, чтобы я приблизился. Мне сделалось жутко, я быстро ушел из малодушного опасения, как бы не ввязаться в какое-нибудь приключение и не опоздать на поезд.

Но затем, на углу, прежде чем свернуть, я еще раз оглянулся. Когда мой взгляд остановился на этом человеке, он встрепенулся и бросился к двери. Когда он порывисто распахнул ее, металл блеснул у него в руке: я издали не мог разглядеть, золото или лезвие ножа так предательски засверкало в лунном свете.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Амок . . . . .	9
Женщина и ландшафт . . . . .	77
Фантастическая ночь . . . . .	105
Письмо незнакомки . . . . .	181
Улица в лунном свете . . . . .	231

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
**СТЕФАНА ЦВЕЙГА**

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ,

единственное на русском языке, разрешенное автором,  
с предисловиями

**М. ГОРЬКОГО  
И АВТОРА,**

специально написанными для русского издания, с критико-биографическим очерком Рихарда Шпехта (Вена) и портретом автора, сделанным для Изд-ва «Время» **ФРАНЦЕМ МАЗЕРЕЛЬ** (Париж).

- Т. I. ЖГУЧАЯ ТАЙНА.** *Содержание:* Рассказ в сумерках.— Гувернантка.— Жгучая тайна.— Летняя новелла.  
Изд. 4-е. Стр. 208. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. II. АМОК.** *Содержание:* Амок.— Женщина и ландшафт.— Фантастическая ночь.— Письмо незнакомки.— Улица в лунном свете.  
Изд. 4-е. Стр. 256. Ц. 1 р. 50 к., в пер. 1 р. 80 к.
- Т. III. СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ.** *Содержание:* Двадцать четыре часа из жизни женщины.— Закат одного сердца.— Смятение чувств.  
Изд. 4-е. Стр. 224. Ц. 1 р. 30 к., в переплете 1 р. 60 к.
- Т. IV. НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.** *Содержание:* Лепорелла.— Незримая коллекция.— Принуждение.— Случай на Женевском озере.— Страх. Тайна Байрона.  
Изд. 4-е. Стр. 200. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. V. РОКОВЫЕ МГНОВЕНИЯ.** *Содержание:* Легенда о сестрах-близнецах.— Глаза извечного брата.— Лионская легенда.— Роковые мгновения: Миг Ватерлоо.— Маренбургская элегия.— Открытие Эльдорадо.— Смертный миг.— Борьба за южный полюс.  
Изд. 3-е. Стр. 176. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. VI. ТРИ ПЕВЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ.** — Казанова. — Стендаль. — Толстой. Изд. 3-е. Стр. 320. Ц. 1 р. 90 к., в переплете 2 р. 20 к.
- Т. VII. ТРИ МАСТЕРА.** — Достоевский. — Диккенс. — Бальзак.  
*Готовится к печати.*

---

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО  
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
**СТЕФАНА ЦВЕЙГА**

*ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:*

«Стефан Цвейг — один из наиболее сейчас распространенных в Германии беллетристов — обязан своею популярностью действительно виртуозному литературному письму».

*«Печать и Революция», 1926 г., № 3.*

«Стефан Цвейг — один из лучших писателей Запада, и мы горячо рекомендуем его молодому поколению. Цвейг покориет, прежде всего, своим литературным талантом. Самые щекотливые темы Цвейг передает иногда прямо с потрясающей силой, всегда с поразительной тонкостью и чуткостью».

*«Смена», Ленинград, 16. V. 1927 г.*

«Это только средневековые умело так взволнованно рассказывать о любви, страстной, всепожирающей любви, полной страдания и самоотречения, неразделенности и жертвенности... Но невольно приходят на ум именно эти средневековые легенды, когда зачитаешься рассказами Стефана Цвейга».

*«Красная Газета», веч. вып. Ленинград, 1925 г., № 312.*

«Автор подходит к своей теме с великой чистотой, с глубокой серьезностью и, всюду говоря об Эросе, никогда не унижается до низменной эротики».

*«Жизнь Искусства», Ленинград, 1925 г., № 29.*

«Стефан Цвейг — прирожденный художник, творчество которого не зависит от войны или мира. Лирник, новеллист, критик, драматург, рассказчик и переводчик, Стефан Цвейг рано достиг известности, заставляя с высоким мастерством звучать любую струну».

*«Красная Газета», веч. вып. Ленинград, 1927 г., № 37.*

---

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО  
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремяная, д. 4. Тел. 184-61

---

*ВЫШЛИ В СВЕТ:*

**ДЖОЗЕФ КОНРАД**  
**НОСТРОМО**  
РОМАН

Перевод с английского Марка Волосова

Обложка работы С. М. Пожарского

Стр. 272. Цена 2 р. 85 к., в переплет 25 к.

«По общему мнению западно-европейской критики — Джозеф Конрад один из самых интересных прозаиков последних лет. Конрад — не новатор; он целиком примыкает к классической прозе XIX века, точнее — к Флоберу и Мопассану; его оригинальность — в способе изображения, в чрезвычайно гибкой и утонченной композиции и в стиле, более сдержанном, чем он мог бы быть. Конрад — художник больших замыслов, глубокого знания и беспоощадного анализа».

*«Печать и Революция», 1925 г., № 2.*

**АНН ПАРРИШ**  
**ВЕЧНЫЙ ХОЛОСТЯК**  
РОМАН

Перевод с английского М. И. Ратнер

Обложка работы М. А. Кирнарского

Стр. 256. Ц. 1 р. 75 к.

«Узкий семейный мирок, замкнутый тесный круг будничных переживаний и затаенных личных драм изображен автором с большой художественной силой и психологической глубиной. Действующие лица — живые люди; каждый имеет свое индивидуальное лицо. Быт американской провинции — скульптурно выпуклый. Книга читается легко.

*(Из отзыва Библ. Комиссии Научно-Метод.-Совета АГОНО, № 1435).*

---

**КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА**  
**ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО**

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

---

**ВЫШЛИ В СВЕТ:**

**ГЕРМАН ЗУДЕРМАН**

**ЖЕНА  
СТЕФФЕНА ТРОМХОЛЬТА**

**РОМАН**

Перевод с немецкого Б. Евгениева и Е. Э. Блок

Обложка работы Евг. Белухи

Стр. 484. Цена 3 р. 40 к.

«Весь драматургический опыт Зудермана по обрисовке и характеристике действующих лиц пригодился в романе для изумительно четкого рисунка его персонажей... Роман производит впечатление полной чаши жизни, со всем ее трепетом и насыщенностью... Зудерман дал потрясающе полную картину германского общества; он поставил наново извечный вопрос об отношениях художника к браку, морали, «филлистерам» и ко всему социально-бытовому укладу общества в условиях капиталистического строя страны... Этот роман Зудермана — весьма значительное явление среди оскудевшей и заметно обмелевшей литературы послевоенной Германии».

*«Красная Газета», веч. вып., 1928 г., № 306.*

**ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ**

**ПРИНЦ ЖАФФАР**

**РОМАН**

Перевод с франц. под ред. Н. Н. Шульговского

Стр. 232. Ц. 1 р. 10 к.

«Вся книга — пестрая россыпь очень ярких и впечатляющих «картинок». Перед читателем разворачивается современный Тунис. Страна с большими культурными традициями и с большим историческим прошлым, сдавленная ныне пятой французского империализма...»

Картинки природы, быта и выразительная галерея типов современного Туниса даны в «Жаффаре» замечательно ярко, выпукло и отчетливо».

*«Книгоноша», 1925 г., № 6.*

---

**КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО  
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО**



